

В. И. ИКСКУЛЬ ФОН ГИЛЛЕНБАНД ИЗ ПЕРЕЖИТОГО В 1918 ГОДУ

Подготовка текста и примечания

Н. Г. Охотина и М. Г. Сальман (С.-Петербург)

Биографические известия о баронессе В. И. Иксуль¹ неизменно затрагивают тему послереволюционных преследований, общую для жизнеописания почти всех «бывших людей», представителей «эксплуататорских классов» императорской России. К сожалению, беглые сообщения об арестах, обысках и реквизициях в случае Иксуль как правило лишены существенных подробностей. Впервые публикуемые ниже воспоминания баронессы, а также материалы, полученные при подготовке их к печати, позволяют отчасти документировать репрессивную сторону ее биографии и вписать ее судьбу в историю «Красного террора».

В эмигрантских мемуарах кн. С. А. Волконской есть фрагмент, оформленный в стиле великосветского анекдота:

[Б]аронесса В. И. Иксуль говорила нам в то время [1920], что «празднует свою серебряную свадьбу с Чрезвычайкой». Это значило, что у нее в доме накануне произведен был двадцать пятый обыск (Волконская 1925: 140).

Жанровые законы *bons mots* могли исказить фактическое число обысков, но можно не сомневаться, что их действительно было много. Однако арестовали баронессу, похоже, всего один раз – и это как раз тот случай, который описан в ее воспоминаниях. Во всяком случае, апелляция к сохранившимся архивам ЧК не дает повода думать по-другому – в казенной справке из «Большого дома»,

¹ См. выше подробный биографический очерк, написанный М. Г. Сальман (с. 247–283).

приводимой здесь дословно², нашел отражение лишь один подобный эпизод:

Фон Иксуль-Гилленбанд (так в деле) Варвара Ивановна, 1850 г. р., баронесса, проживала в г. Петрограде (ул. Кирочная, д. 18, кв. 3).

Фон Иксуль-Гилленбанд В. И. арестована 19 октября 1918 г. Чрезвычайной Комиссией по борьбе с контрреволюцией и спекуляцией при Союзе коммун Северной области по подозрению в отношениях с иностранцами (так в деле). Арест был произведен в Знаменской гостинице³.

Постановлением Чрезвычайной Комиссии по борьбе с контрреволюцией и спекуляцией при Союзе коммун Северной области от 12 ноября 1918 г. фон Иксуль-Гилленбанд В. И. из-под стражи была освобождена ввиду отсутствия данных для обвинения (так в деле).

(Основание – архивное уголовное дело № П-17967).

После декретирования «Красного террора» (05.09.1918) аресты в Петербурге приняли массовый характер. Людей брали по конкретным обвинениям, в качестве заложников, да и просто случайно – в результате проведения облав и засад. Формула об «отношениях с иностранцами» в деле баронессы заставляют думать, что ее арестовали не как заложницу из числа «социально-чуждых элементов», а руководствуясь вполне определенными подозрениями: возможно, чекисты пытались вовлечь В. И. в орбиту так называемого «дела о заговоре послов» («дело Локкарта»)⁴, в связи с которым в

² Справка Архива УФСБ по СПб. и Ленинградской обл. № 10/2686 от 6.11.2020 по архивному уголовному делу № П-17967, выданная по запросу ИРЛИ РАН (далее – Справка по АУД № П-17967). С самим делом В. И. нам, к сожалению, ознакомиться не удалось.

³ Как видно из справки, баронесса проживала в это время в своей квартире на Кирочной; из ее воспоминаний определенно следует, что обыск и арест производились именно там. Упоминание о Знаменской гостинице в связи с арестом, видимо, делопроизводственная ошибка, разяснить которую невозможно без полного знакомства с делом. Знаменская гостиница размещалась по адресу: Лиговский проспект, д. 43 (впоследствии была переименована в «Московскую»).

⁴ ЧК начало расследовать этот, в значительной мере мнимый, заговор, якобы организованный странами Антанты и США, еще летом 1918, причем это расследование

Москве и Петербурге шли многочисленные аресты и тщательно проверялись связи дипломатов и вообще иностранных граждан с русской «контрреволюционной средой». Тема охоты на людей, поддерживающих знакомство с иностранцами, всплывает и в мемуарах самой баронессы – в эпизоде первого (и единственного) допроса, и в разговоре В. И. со знакомыми дамами в ДПЗ. Однако, при всей широте светских и дипломатических связей баронессы, никаких конкретных ниточек, ведущих к «заговору послов», чекисты обнаружить не смогли, да может быть настойчиво и не искали – при том количестве людей, которые попадали в тенета «чрезвычайки», проследить все открытые и прикровенные связи подозреваемых было просто невозможно, и если не выручали прямое давление и доносы, то следствие нередко заходило в тупик. Впрочем, отсутствие улик далеко не всегда служило основанием для освобождения – поводом для расстрела или дальнейшего заключения могли послужить социальное происхождение, нежелательная партийность, персональная антипатия или, наконец, корыстный расчет.

Баронессе повезло. 6 ноября (24 октября), к середине третьей недели ее тюремной жизни 6-й Всероссийский чрезвычайный съезд Советов, созданный к первой годовщине Октябрьской революции,

строилось на провокации, шантаже, внедрении в дипломатическую среду подставных фигур и побуждении сотрудников, подозреваемых в намерении свергнуть советскую власть, к активным действиям (при этом некоторые дипломатические работники, по-видимому, действительно строили планы по организации антисоветского сопротивления, опираясь на белое офицерство и другие антибольшевистские силы). После покушений на Ленина и убийства Урицкого 30.08.1918 ЧК попыталась увязать действия Фанни Каплан и Леонида Каннегисера с интригами стран Антанты и поспешила объявить заговор раскрытым, используя это в качестве пропагандистского обоснования для объявления «Красного террора» (05.9.1918). Расследование возможных ответвлений «заговора» продолжалось еще долго, но фигурантам из дипломатической среды уже в октябре позволили покинуть Россию (в том числе и главному фигуранту дела, генеральному консулу Великобритании Роберту Брюсу Локкарту, 1887–1970). Революционный трибунал при ВЦИК рассматривал дело с 25.11 по 03.12.1918 и приговорил двоих человек к расстрелу, десяти других – к 5-ти годам тюремного заключения, а восьмерых оправдал, чем окончательно обнажил дутый характер «заговора». Из обширной литературы, посвященной этому делу, приведем здесь лишь несколько ссылок общего характера: Петерс 2007; Ратьковский 2019; Шнир 2022.

выпустил постановление о частичной амнистии. Среди подлежащих освобождению категорий в постановлении упоминалась и такая:

1) Освободить от заключения всех тех задержанных органами борьбы с контрреволюцией, которым в течение двух недель со дня ареста не предъявлено или не будет предъявлено обвинение в непосредственном участии в заговоре против Советской власти, или подготовке его, или в организации белогвардейских сил, или в содействии тем партиям и группам, которые явно поставили себе целью вооруженную борьбу против Советской власти⁵.

Эти формулировки как нельзя лучше соответствовали статусу В. И. на тот момент. Видимо, никаких веских причин оставлять баронессу в ДПЗ у следователя не нашлось, и через несколько дней после публикации постановления она была освобождена⁶.

Тюремные мемуары В. И. Иксуль были написаны в промежутке между началом февраля (когда В. И. узнала о расстреле великих князей) и началом апреля 1919⁷, когда рукопись поступила в мемуарное собрание известного журналиста Льва Моисеевича Клячко (1873–1933).

Историю своей коллекции Клячко описывал в пояснительной записке от 05.05.1933, адресованной В. Д. Бонч-Бруевичу, директору

⁵ Опубликовано: Известия. 1918. 9 ноября. № 244; Правда. 1918. 9 ноября. № 242. В число амнистированных попали также все заложники, кроме тех, чье задержание необходимо для безопасности «товарищей, попавших в руки врагов», а также осужденные, чье освобождение «не представляет опасности для Республики». Постановление об амнистии отражало определенный этап борьбы за власть и влияние в большевистской верхушке: бесконтрольность и кровожадность карательных органов стали беспокоить конструктивную часть политического руководства; в предшествующие съезду недели в партийной и советской печати все чаще стали раздаваться голоса о чрезмерности проводимых репрессий. Одной из технических целей амнистии была «разгрузка» переполненных тюрем.

⁶ Точная дата освобождения баронессы неизвестна. Ее могли освободить и в день подписания постановления ЧК, но более вероятно, что это произошло на следующий день – 13 ноября.

⁷ Наборный штамп синими чернилами в левом верхнем углу первого листа рукописи: 8 апр<еля> 1919.

Государственного литературного музея, куда и было передано все собрание (с 1941 – в ЦГАЛИ):

Вскоре после октябрьского переворота я решил приступить к собиранию воспоминаний оставшихся в столице сановников. Вернее, не столько к собиранию, сколько к тому, чтобы заставить написать. Моя преимущественная (но, конечно, неисключительная) установка была такова, чтобы писали о том, что видели<,> люди, сами не игравшие политической роли и вообще не заинтересованные в извращении событий. Именно таким пороком страдают такие данные воспоминания, как например, воспоминания гр. Витте (и др.), который лжет и извращает истину там, где пытается оправдать свои ошибки и двойственные действия.

Получив разрешение Наркомпроса, я организовал редакцию «Мемуаров», состоявшую вначале из пишущего эти строки, секретаря и делопроизводителя-переписчицы. Но уже вскоре после того, как начали поступать материалы, редакция была мною организована по-настоящему <...>. Эта часть редакции имела своей миссией определить историко-общественно-политическую значимость данного материала, после чего он шел в переписку. Кроме указанных лиц мною были привлечены для проверки правильности написанного бюрократы <...>⁸.

Среди своих вкладчиков Клячко упоминает и В. И. Иксуль:

Баронессу Иксуль <...> мне удалось заставить написать о Распутине (она была его поклонницей, потом отошла) лишь после того, как мне удалось добыть ей какое-то заграничное лекарство, которого она достать не могла⁹.

Помимо тюремных воспоминаний и обширных записок о Григории Распутине¹⁰ в собрании Клячко сохранился еще один текст,

⁸ РГАЛИ. Ф. 1208. Оп. 1. Д. 1. Цит. по: Вельяминов 1994: 250 (в составе предисловия Д. А. Налепиной).

⁹ Там же.

¹⁰ Кто такой был Григорий Распутин – РГАЛИ. Ф. 1208. Оп.1. Д. 22. Л. 1–87. Архивная датировка: [06.05.1918].

принадлежащий перу В. И. Иксуль, – лирические размышления о смерти ее друга, бывшего Тобольского (1912–1915) и Самарского (1915–1916) губернатора, Андрея Афанасьевича Станкевича (1868 – март 1919)¹¹.

Текст воспоминаний печатается по автографу В. И. Иксуль, хранящемуся в РГАЛИ – Ф. 1208 (Л. М. Клячко). Оп. 1. Д. 21. Л. 1–28. Записан чернилами на сложенных полулистах, заполненных с двух сторон.

Мемуары, видимо, писались автором прямо набело, поэтому в тексте немало помарок и зачеркиваний (зачеркнутые фразы воспроизводятся в сносках). Авторский орфографический режим непоследователен: с одной стороны, в рукописи не употребляется (за редкими исключениями) *ѣ* в конце слов, как и *ѳ*, а с другой, – сохраняется большинство других признаков старой орфографии – *ть, і, -аго* в родительном падеже прилагательных мужского рода, *-ья/-ия* в именительном падеже прилагательных женского рода, *-з-* в приставках *из-, воз-* перед глухой согласной основы, формы местоимений *ея, онѣ*, и т. п. В настоящей публикации текст мемуаров печатается нами по новой орфографии, модернизировано также архаичное написание некоторых слов (напр., *корридор, комиссар*). Пунктуация, представления о которой у баронессы Иксуль были весьма своеобразны, также приведена к современной норме. Описки и ошибки исправляются без оговорок. Сохранены индивидуальные лексические и синтаксические особенности авторского письма (в частности, галлицизмы и плеоназмы). Подчеркнутые в рукописи слова передаются курсивом. Публикаторские конъектуры даются в угловых скобках.

¹¹ За гробом – РГАЛИ. Ф. 1208. Оп. 1. Д. 20. Л. 1–5. Время смерти А. А. Станкевича в литературе считается не установленным, и хотя Иксуль не называет точную дату, но ее помета на первом листе некролога – «март 1919» – все же существенно сужает поле поиска.

Из пережитого в 1918 г<оду>. Обыск и арест

В. И. Иксуль фон Гилленбанд

Я проснулась от шума каких-то голосов. Посмотрела на часы – 2 часа ночи. Вскочив с кровати и наскоро надев туфли и халат, вышла в переднюю, где стояло восемь вооруженных людей в шинелях и папахах.

– Что вам нужно? – спросила я.

– Обыск, – был ответ и предъявлен ордер от Чрезвычайной Следственной Комиссии¹² на производство обыска в моей квартире. Уполномоченный по дому и старший дворник были налицо, значит, формальности соблюдены.

– У вас склад оружия, укажите его, а то расстрел, – крикнул, как потом оказалось, комиссар¹³, направляя на меня револьвер. Остальные смотрели злобно.

– Никакого склада у меня нет, да и вообще нет оружия; угрожать нечего; впрочем, сами ищите, – спокойно возразила я.

– Неправда, врешь, вот найдем – не остаться тебе живой, – поднялись возгласы со всех сторон.

Я предложила разбудить всех спящих.

– Ни с места, а то расстреляем; сами, небось, проснутся скоро, – был грубый окрик.

Вошли гурьбой в мою спальню, накинулись на письменный стол, на зеркальный шкаф, на кровать.

¹² В. И. путает названия двух комиссий: Всероссийской чрезвычайной комиссии (ВЧК), созданной в декабре 1917 (и ее филиала – петроградской ЧК, созданной 10 (23).03.1918), и Чрезвычайной следственной комиссии, образованной 4 (17).03.1917 при Министерстве юстиции Временным правительством для расследования противозаконной деятельности царских министров, крупных чинов тайной полиции и жандармерии, а также лиц, близких к царскому двору. Вначале арестованные ЧСК содержались в Трубецком бастионе Петропавловской крепости, затем их перевели на Фурштатскую ул., 40 в арестный дом при здании жандармского управления (переданном окружному суду). Постепенно всех выпустили, а комиссия была упразднена после Октябрьского переворота (подробнее см.: Манухин 1958: 97–116).

¹³ В это время комиссарами в ЧК назывались полевые агенты, осуществлявшие обыски, аресты, облавы и прочие вооруженные операции.

– Покажите, где оружие, бриллианты, деньги, – требовал комиссар.

– Оружия нет, бриллиантов нет, а какие есть деньги, сами найдете, – и действительно, открыв письменный стол, нашли 1160 руб. Незначительность суммы привела их в недоумение. Комиссар настаивал под угрозой расстрела выдачи тех крупных денег и оружия, которые, по их сведениям, хранились у меня. Искали всюду, под матрацем и подушками, в столах, стряхивали занавеси, книги. Через несколько минут комната превратилась в хаос.

Комиссар обыскивал письменный стол и находил только счета, открытки; писем не было, я давно имела привычку их рвать. Нашлась старая записка Ник<олая> Конст<антиновича> Михайловского¹⁴, которую хранила на память. Стало ее жаль и хотела ее взять. Писал он, что придет чай пить вечером. Как я ни доказывала незначительность для Чрезвычайной Следственной Комиссии этой записки, датированной двадцать лет тому назад, комиссар ее не отдал, а на мой вопрос, знает ли он, кто был Михайловский, ответил: «А черт его знает, верно, какой-нибудь писака для буржуев, а записка важна, и я ее беру».

– А, да тут целый склад провианта, – торжествуя, воскликнул один из солдат, открыв шкаф, где я хранила сухую провизию для больного сына.

– Склада нет, не наберется и пуда муки, а по вашей же газете каждый человек может держать для своей надобности 1½ <пуда> муки и по 5 ф<унтов> крупы, нас же девять едоков.

Комиссар оторвался от письменного стола, и, обернувшись ко мне лицом, гримасничая и меня передразнивая: «*Ваша* газета, ваша газета, – язвил он, – значит, есть ваши и наши газеты, по-вашему; какие уж такие газеты ваши и какие наши?»

– «Северная коммуна»¹⁵ есть орган теперешней власти, вы ее представители, вот почему и сказала «*ваша* газета».

¹⁴ О Н. К. Михайловском см. в статье М. Г. Сальман (с. 250).

¹⁵ Полное название газеты: «Северная коммуна. Известия Исполнительного комитета Советов Крестьянских, Рабочих и Красноармейских депутатов Северной области и Петроградского Совета рабочих и крестьянских депутатов». Официоз под

Он выругался и продолжал свои розыски. Остальные не унимались, все пересматривая вторично, издеваясь и бранясь. Один из них, совсем еще юнец, с хохлатым чубом под папачой, лихо вскинутой на затылок, развалился в кресле, куря мои папиросы и, нагло глядя на меня, хихикал: «Неприятно, небось, что сижу на твоём кресле? а? Прежде не добратся до вас, а теперь – эге, эге! Ты стоишь, а я сижу и могу делать с тобой все, что вздумаю. Другие времена пошли – мы хозяева, а вы ничто, пикнуть не смеете», и он еще плотнее углубился в кресло, вскинул ногу на ногу и засмеялся зло, нахально.

Другой, навалившись на кровать, указывая на образа, спросил вызывающе: «А почто столько богов у тебя?». Я не поняла остроты его шутки, но, не ответив ему, заметила комиссару, что на обыск они имеют право, но на издевательство нет. Он смутился и робким тоном заметил: «Она права, товарищи, издеваться нельзя; прошу вас не говорить о том, что не относится к делу».

Все «товарищи» сразу загалдели, ссылаясь на «свободу», позволяющую им делать и говорить, что хотят. Комиссар не возражал, он, видимо, их боялся и никакого авторитета над ними не имел. Он опрокинулся на стул, посмотрел на меня пристально и что-то грустное, мягкое проскользнуло по жестоким, огрубевшим чертам.

– Небось, дворянская кровь кипит, – сказал он вполголоса. – Тяжко, а? Хотелось бы, – он сделал выразительный жест, – но нельзя... все в себя втолкнуть... дворянская выдержка... Я сам бывший дворянин, – добавил он еще тише. – Когда-то и я тоже... А ну! – махнул он рукой и грубо крикнул: – Чтó тут копать! Довольно! Айда дальше – показывайте квартиру.

Я повела их всех гурьбой в конец коридора, в комнату, где помещалась кухарка с ее детьми. Открыв дверь, комиссар испуганно отскочил назад, крикнув:

этим названием выходил в период с 02.06 (20.05) 1918 по 11.05.1919. Сам Союз коммун Северной области был упразднен 24.02.1919, распавшись на отдельные губернии.

– Что за сборище? Кого скрываете? Отчего не предупредили? За сокрытие расстрел...

– Это моя кухарка, ее сын 15-ти лет и дочь 18-ти. Работают они на стороне, а живут у меня, с матерью. Я никого не скрываю и сказала вам в присутствии всех, что нас девять едоков, а вы не спросили, кто они.

После опроса перепуганной кухарки и ее детей двинулись дальше. Часть солдат разбрелась по всему помещению.

– Что высыпала из мешка? Что? Говори, что скрываешь, куда высыпала, сам видел, – вдруг заорал один из обыскивающих, торжественно указывая на пустой мешок, который он вытащил из какой-то комнаты. – Не скрывай, сознайся, а то расстрел. Сам видел, как ты сыпала что-то...

Улыбаясь, я ответила, что не мог он меня видеть в комнате, где меня не было, т. к. я все время находилась при комиссаре.

– Врешь, врешь, сам видел, как ты что-то вынимала и высыпала, – озверевши, кричал солдат. – Врешь... Товарищи, обыскать ее, расстрелять... С<ука>... ничего не боится... мы тебе покажем, справимся с тобой...

Я взглянула на командира. Он побледнел, но молчал, как будто занятый осмотром какого-то стула. Солдаты окружили меня, загалдели.

– Что вы делаете, товарищи, – наконец робко заметил он. – Так не полагается; оставьте ее. Пойдем дальше, еще много надо осмотреть.

За это время все проснулись, кроме моего сына, который жил наверху, в маленькой квартирке, соединенной винтовой лестницей с моею¹⁶. Два солдата поднялись к нему, невзирая на мой протест, что не имеют права врваться к больному человеку, не помеченному в

¹⁶ В мансарде. Вот как описывал дом А. Н. Бенуа: «Стоял <...> он на Кирочной, насупротив того места, где начинается Надеждинская. Самый дом был полуособняком в два этажа над высоким подвалом, но можно было с натяжкой за третий считать мансарды <...> Как раз слуховые окна (люкарны барочного стиля) этого мансардного этажа придавали дому <...> заграничный, парижский характер» (Бенуа 1993, 1–3: 129). Мансарды по фасаду дома в 1946–1948 были преобразованы в полноценный третий этаж. О сыне В. И. Иване Николаевиче Глинка-Маврине (1870–1920) см. в статье М. Г. Сальман (с. 270).

ордере. Его привели полуодетым; всех собрали и заперли в пустую комнату, ключи комиссар положил в карман. Увидев запертый чемодан в коридоре, хотели его вскрыть; я села на него, заявив, что не дам его взламывать, когда его хозяин, Роман Александрович Дистерло¹⁷, тогда живший у меня, заперт вместе с другими. Его привели, обыскали его вещи, его комнату.

Мои чулки сползали, я нагнулась, чтобы их поправить, солдат схватил меня за плечи:

– Что прячешь? Что? Говори!

Я его оттолкнула: «Не смей меня трогать!» – в свою очередь крикнула я. Он отступил в недоумении, выпятил на меня глаза, но промолчал и отстал.

Собака моя, обыкновенно никого не допускающая в мою комнату без лая, не подавала звука и не двигалась; теперь только она выползла из-под стола, посмотрела на меня и на солдат, и, понуриив голову и опустив хвост, снова побрела в корзинку, из которой больше не показывалась, – инстинктивный страх ее покорил.

Вытащили 3 бутылки вина, которые я хранила на случай заболевания, чай, кофе, сахар, свечи и мыльный порошок. Его было пуда полтора, т. к. я его закупала, когда он еще был дешев и продавался свободно. Вино и остальное утонуло в карманах комиссара и других, а мыльный порошок внесли торжественно, с заявлением, что напали на «взрывчатое вещество». Убедить их, что «Феникс»¹⁸ употребляется исключительно для стирки, было

¹⁷ Роман Александрович Дистерло, барон (1859–1919) окончил юридический факультет Петербургского университета, служил в министерстве юстиции, впоследствии член Государственного совета, сенатор. Сотрудничал с периодическими изданиями, автор книги «Граф Л. Н. Толстой как художник и моралист» (1887).

¹⁸ Имеется в виду, вероятно, французское стиральное средство «Лессив-Феникс» (Lessive Phénix) – сухой мыльный порошок на щелочной основе, который начал производиться в Европе с 1880, в России получил временную торговую привилегию в 1884, с 1892 получил постоянное таможенное свидетельство, а с 1912 в стране уже действовало одноименное товарищество на паях с капиталом 500 000 руб., занимавшееся упаковкой и дистрибуцией товара. В середине 1917 порошок продавался в Петрограде по 25–30 коп. за фунт. Параллельно с французским средством в России встречались и другие стиральные порошки под близкими названиями («Феникс», «Феникс-Щелок»), скорее всего контрафактные.

невозможно: не могли уразуметь, на что такое количество, когда на одного человека выдается по $\frac{1}{4}$ фунта мыла в месяц. Мне надоели глупые рассуждения, и я заметила самому рьяному и нахальному солдату, что разница между нами и заключается в том, что ему хватает $\frac{1}{4}$ ф<унта> мыла, а мне нет, – и понять этого он даже не может. Мои доводы его не переубедили, и «Феникс», как и все остальное, были сложены вместе для дальнейшей отправки на Гороховую¹⁹.

Полураздетой, мне было холодно, я устала, а главное, – стало противно, и я заявила, что дальше не пойду; меня может заменить моя девушка и мой человек Слесарев. Погалдели, протестовали, но согласились, когда <я> решительно села и сказала, что не двинусь. Выпустили сына, с которым пошли наверх, мою девушку и Слесарева, а меня заперли на их место. Сидеть без дела не могла, попросила работу из моей спальни и стала подрубать начатые полотенца. Ничто так не успокаивает, как ручная работа. Я слышала, как солдат, приставленный к двери, ходил по комнатам, стучал в стены и долго оставался в моей спальне, где, как оказалось впоследствии, он выбирал, что ему пригляделось.

Обыскали всю квартиру, чердаки. Было давно светло. Трамваи бегали, люди спешили по улицам с корзинками и бидонами за дневным пропитанием. На дворе сыро, тускло, уныло. В душе возмущение, протест, недоумение. За что? Почему такое злоключение?

Пробило 2 часа. Наконец обыск кончился. Он длился более двенадцати с половиной часов. Собрались в моей спальне писать протокол. Задержали еще нового человека, конторщика. Он пришел по обыкновению в 9 часов и поднялся в контору, несмотря на предупреждение об обыске. Его тут же схватили; пожелтевшие, усталые, голодные солдаты потребовали чая и хлеба и, развалившись кто куда, полусонные и вялые, пустились в разговоры. На мои вопросы,

¹⁹ На Гороховой (вскоре переименованной в Комиссаровскую, затем ставшей ул. Дзержинского, сейчас опять Гороховой), в доме 2 находилась ВЧК. До революции там располагалась канцелярия градоначальника.

кто они и откуда, оказались все безземельными крестьянами окрестных уездов и губерний, бывшие рабочие с заводов, заявившие о своем желании служить Чрез<вычайной> След<ственной> Ком<иссии>, где получали два фунта хлеба в день, хорошее питание и 350 р. жалования, что они, впрочем, находили недостаточным за «каторжную работу». Мне интересно было выяснить, не добиваются ли земли? На что все заготовали и ответили, что им достаточно трех аршин, которые всегда будут их.

Комиссар мешкал и не приступал к протоколу, что-то обдумывая; наконец отвел меня в сторону и вполголоса предложил еще раз сознаться, где спрятано оружие, в коем случае он не арестует моего сына. Говорил он вкрадчиво, но когда я повторила, что ничего не скрывала, он сверкнул глазами и зло процедил сквозь зубы: «Напрасно, раскаетесь, но поздно; будете расстреляны».

По телефону хотели вызвать автомобиль. Телефонная барышня по обыкновению путала номера; ей грозно объявили, что Чр<ез-вычайная> С<ледственная> Ком<иссия> с ней расправится по-своему. Угроза подействовала, получился требуемый №, но грузовика не оказалось. Нас было 5 человек арестованных, кроме вещей и «доказательств»: 7 пустых шрапнельных гильз, которые я привезла из-под Адрианополя с прошлой Болгарской войны²⁰.

Я предложила разделить на группы и, не дожидаясь грузовика, довольствоваться обыкновенным автомобилем. Согласились. Написали протокол. Мотор приехал, и я села в него с Дистерло, конторщиком и тремя солдатами; комиссар остался при сыне. По дороге мы встречали много автомобилей, едущих или стоящих у подъездов, и солдаты с удовольствием объясняли мне, что это все «их» машины, т. к. сегодня ночью было их пущено в ход более 250, и то не хватало за множеством обысков и арестов. Утомленные бессонной ночью, солдаты не казались уже лютыми зверь-человеками, безобразничающими и свирепствующими во время обыска. Они дремали и только изредка поднимали сонные

²⁰ О пребывании В. И. в Адрианополе во время первой Балканской войны см. во вступительной статье.

отяжелевшие веки; лица были обыденные, тупые, скуластые – мужичьи лица с добродушной улыбкой.

Остановились на Гороховой, 2, бывшее Градоначальство. И прежде этот адрес внушал неприятное чувство, но теперь его не произносят без смертельного трепета. В большом холле сидело довольно много народа, только что доставленного; часовой стоял у входа. Через несколько минут прибыл мой сын; у него был такой болезненный вид, что мне за него стало страшно, и я попросила комиссара, приехавшего с ним, предупредить приемщика, что привез больного и чтобы позвал доктора. Я слышала, как он это говорил, а на вопрос «зачем тащил больного», его ответ: «Не притащил бы, отвечай, почему не привез, знаю я вас здесь – не потрафил, сейчас “к стенке”, одна расправа у вас». Пожал плечами и удалился.

Я подошла к приемщику, на вид полуинтеллигентному, с суровым лицом, низким лбом, в черной коммунистической блузе, и повторила мою просьбу, добавив, что желательно было бы допросить больного первым. Врача не оказалось, пришел фельдшер, пощупал пульс сына, насчитал 140 ударов, пожал плечами, пробормотал «безобразия» и пошел к приемщику. Что он ему говорил, не знаю, но оба смотрели на нас, и куда-то была послана записка.

Время шло, мы все ждали. Прибывали новые партии арестованных, с виду спекулянты или погромщики, евреев не было. Я снова обратилась к приемщику с просьбой ускорить допрос. Он отвечал, что сделал, что мог: два раза писал следователю, который завален делом; больше напоминать ему не может.

Наконец часов в 7 позвали сына. Он вернулся довольно скоро и, недоумевающий, сообщил, что его, главным образом, следователь расспрашивал про меня и что я обвиняюсь в каком-то политическом, очень важном деле. Наконец пришел мой черед. Вооруженный солдат повел меня и остался стоять у двери. Маленькая, закопченная комната с открытой дверью в соседнюю и в коридорчик. У стола в тени (свет лампы падал на меня) сидел следователь, опрятно одетый, лет 35; с интеллигентным озлобленным лицом, с холодными сосредоточенными глазами. После

обычных вопросов об имени, фамилии, возрасте и пр. он сказал мне внушительным тоном, что я обвиняюсь в серьезном политическом деле, что все улики налицо, отрицание ни к чему и может только привести к печальному и роковому исходу, а потому он советует мне чистосердечно во всем признаться. Этим может быть отвращена грозящая высшая кара.

– Расстрел? – добавила я с улыбкой. – Эта угроза не особенно меня страшит; она так часто повторялась сегодня ночью, во время обыска, что я с ней свыклась. В чем же я обвиняюсь?

– В близких сношениях с Савинковым²¹, в сношениях с главными французскими и немецкими военными представителями. За вами давно установлено наблюдение; все нити контрреволюции сводятся у вас.

– Я не совсем уясняю себе, как я могу быть одновременно в сношениях с французами и немцами... Заявляю, что никого из немцев и французов не знаю, даже по имени, Савинкова никогда не видала и ничего общего с ним не имею и не имела.

– Он у вас был вчера; – я это знаю, – решительно произнес следователь. – Может быть, он пришел под чужой фамилией, загримированный – он великолепно гримируется...

²¹ Борис Викторович Савинков (1879–1925) в 1897, окончив гимназию в Варшаве, поступил в Петербургский университет, арестовывался «за пропаганду», сослан в Вологду. В 1903 бежал в Швейцарию, где вступил в партию эсеров. Вскоре был принят в боевую организацию партии. После разоблачения Азефа БО пришлось создавать заново, в 1911 ее распустил ЦК. Савинков жил в эмиграции, писал стихи и романы, с началом войны стал военным корреспондентом. Вернувшись в 1917 в Россию, назначен комиссаром Временного правительства, затем товарищем военного министра. После корниловского мятежа исключен из партии эсеров. Захватив власть, большевики издали приказ об аресте Савинкова (см.: Беленкин 2005: 51). Летом 1918 пытался поднять восстания в приволжских городах. «Итоги бессмысленного во всех отношениях июльского восстания в Ярославле: свыше 100 человек казнены савинковцами, в боях погибли с обеих сторон сотни людей, и еще сотни людей погибли во время “красного террора”» (Там же: 52). Осенью 1918 уфимская Директория, в которую входили и эсеры, отправила Савинкова в Париж вести переговоры «о предоставлении союзниками помощи белым армиям» (Там же: 55). Весной 1920 он в Варшаве, где, по просьбе Ю. Пилсудского, формирует русские воинские части в составе польских войск (см.: Там же: 56). Затем последовала высылка из Польши (1921), чекистская провокация и наконец арест в Минске в августе 1924. Следствие, суд и самоубийство на Лубянке.

– Позвольте, если он явился под чужим именем, как же я могла знать, что это Савинков? Но и этого не может быть, у меня вчера никого незнакомого не было, да и вообще не бывает.

– С каких пор? Прежде, я знаю, что вы всех принимали.

– Верно, но теперь боюсь пустить к себе хулигана, боюсь ваших налетчиков и воров.

Он продолжал задавать самые несуразные вопросы; из них явствовало, что я даже принимала участие в восстании матросов²².

²² 13.10.1918 в Петроград прибыло несколько тысяч мобилизованных матросов, которых разместили во Втором балтийском экипаже (другое название Крюковских казарм), по адресу: Большая Морская ул., 69, угол наб. Крюкова канала и Благовещенской ул., 7. Матросы устроили там митинг, требуя расторгнуть Брестский договор, не платить контрибуцию и организовать поход на Украину, чтобы изгнать германских оккупантов. 14.10 митинг продолжился на Театральной пл.; ворвавшись в Мариинский театр, матросы захватили музыкантов и под музыку двинулись к кораблям на Неве. Ночью арестовали 11 человек, зампреда ЧК Н. К. Антипов на собрании Петросвета 15.10 заявил, что «весь план фарсового восстания был разработан на конференции левых эсеров, где присутствовали представители правого левоэсеровского лагеря и один монархист» (Елизаров 2004: 129). Приехавший в Петроград Л. Д. Троцкий сказал на митинге 19.10 мобилизованным красноармейцам и матросам, что восстание – «это дело рук англичан, французов, американцев и японцев или же белогвардейцев и левых с.-р. Вернее всего <...> это гнусное восстание является делом рук всех этих негодяев вместе взятых, ибо нельзя теперь отличить, где начинается лево-эсеровско-белогвардейская банда и где кончается англо-франко-американский капитализм» (Северная коммуна. 1918. № 134. 20 октября. С. 2). 21.10.1918 было расстреляно 11 арестованных, среди которых был один анархо-синдикалист и три левых эсера (см.: Партия левых социалистов-революционеров 2000–2017, 2, Ч. 3: 461). О расстреле сообщили в газете только через 9 дней (см.: «Северная коммуна». 1918. № 143. 30 октября. С. 1; см. также листовку «Правда о событиях 14 октября в Петрограде» и «Воззвание о расстреле» – Партия левых социалистов-революционеров 2000–2017, 2, Ч. 3: 59–67). Николай Кириллович Антипов (1894–1938, расстрелян) из крестьянской семьи Старорусского уезда, окончил четырехклассное училище, работал слесарем-механиком в Петербурге. Член РСДРП(б) с 1912, в 1917 член петроградского комитета РСДРП(б), участник Октябрьского переворота. С августа 1918 зампреда, затем председатель петроградской ЧК. В 1919 секретарь губкома в Казани, с 1920 член Президиума центрального совета профсоюзов. В 1923–1924 секретарь Московского комитета РКП(б), затем заведовал Организационно-распределительным отделом ЦК. С 1925 первый секретарь Уральского обкома, в 1926–1927 второй секретарь Ленинградского губкома и секретарь Северо-западного бюро ЦК. В январе 1928 стал наркомом почт и телеграфов, с 1931 замнаркома Рабоче-крестьянской инспекции СССР и член президиума Центральной контрольной комиссии ВКП(б). С апреля 1935 председатель Комиссии советского контроля при Совнарком и зампреда СНК

Обвинения были настолько нелепые, что я рассмеялась, что вызвало его неудовольствие.

Он все время справлялся в каком-то довольно волюминозном «деле», лежащем на столе.

– Вы не станете отрицать ваши связи с «Русском Богатством», с Николаем Константиновичем Михайловским, со многими другими?

– Не только не буду этого отрицать, но считаю за честь дружбу с Михайловским; но – это было очень давно, какая эпоха моей жизни вас интересует?

– Со времени переворота.

– При чем же здесь «Русское Богатство», Михайловский?.. Если за мной было наблюдение, меня ваши обвинения удивляют. За исключением своих ближайших друзей, я никого не вижу; мое материальное положение настолько изменилось, что я веду самый скромный и замкнутый образ жизни.

– Вы так умны, тонки и умелы, что не станете, конечно, прибегать к заезженным приемам. Повторяю: все нити контрреволюции сосредоточены у вас, но вы так ловки, и вас трудно словить.

Я поблагодарила за лестный, незаслуженный отзыв. Допрос продолжался в том же духе. Я начинала терять терпение, так как все, что говорилось, было совершенно безосновательно, и отказалась отвечать. Если мои слова не принимались во внимание, если им явно не верили, зачем же было говорить?

Следователь задал еще несколько вопросов и, видя мое упорное молчание, произнес красноречивую отповедь, где говорил, что если бы он поддался личному впечатлению, то, вероятно, меня бы отпустил, я так хорошо «симулирую искренность», но что обязанность следователя строго придерживаться фактов, а не субъективных впечатлений. Если б был «обыкновенный» суд, я, несомненно, сумела бы внушить ему убеждение в моей непричастности к контрреволюции, но такого суда теперь нет... Мы переживаем революцию, кровавую революцию. Темные массы

и Совета труда и обороны. Арестован 21.06.1937 (см.: <https://biography.wikireading.ru/175007>)

главенствуют, они сделали переворот и стоят во главе его. Им нужны жертвы за прошлое. Настала классовая борьба, эксплуатируемые мстят эксплуатирующим за прежние унижения и обиды, а интеллигенты не могут остановить этого потока ненависти... Торжествующему пролетариату нужны жертвы... нужны.... Пролетарский революционный суд вас не оправдает, и я не могу... Вы арестованы.

– Хорошо, – ответила я, не показывая ему, как была поражена столь неожиданным заключением, – но зачем, на каком основании арестованы мой сын и другие? Они совсем не причастны к политике, даже не интересуются ею. Сын совсем больной, какая вам охота добивать его в одной из ваших тюремных больниц? Не понимаю такой ненужной жестокости, которая причинит вам много хлопот.

Он сознался, что фельдшер его предупредил о тяжелом состоянии сына, но определенного ответа не дал. Выходя, я увидела какого-то, до тех пор не замеченного мною человека, сидящего в темноте за моей спиной. У большевиков всегда присутствуют соглядатаи. Повели меня опять в большой зал, и вскоре явилась за мной шустрая, резкая и злющая, рябая надзирательница в сопровождении солдата с винтовкой. Я простилась со своими, предупредив, что им придется, вероятно, переночевать на Гороховой. Все были утомлены, измучены бессонной, тревожной ночью, голодные, холодные. Не доходя до женского помещения, я заметила, что забыла корзиночку с чаем, – мне позволили вернуться в зал, и какова же была моя радость, когда узнала, что сына только что отпустили домой! Остальные еще ждали допроса.

Мы прошли через ряд больших комнат, запущенных, затоптанных, где сновали хохлатые солдаты, люди в черных блузах. Прошли мимо бывшей церкви, там чего-то ломали, снятый с места престол стоял в углу, заваленный каким-то хламом. Наконец дошли до женского отделения. Надзирательница ушла. Я стояла в недоумении на пороге: куда приткнуться?

Комната была полна женщин всех возрастов, но не всех сословий; преобладали самые «простые», было только несколько очевидно «одних прислуг», немного попорядочней и чище одетых, а остальные

– кто в затасканных «шалях», кто в полушубке, рваных кофтах, в потрепанных юбках; головы замотаны шерстяными платками. Было смрадно, пахло селедкой, сапогами, потом и всякими другими испарениями. Лежали друг на друге, подсунув под головы грязные мешки и заваленными всякими тюками. Кто жевал какие-то огрызки, кто плакал, стонал, кто бранился. Места не было. Какая-то женщина, примостившись у самого входа, часто рыгая и обдавая винным дыханием, приглашала меня сесть между нею и другой оборванной старухой.

Пока я оглядывалась, в открытую в соседнюю комнату дверь показалась знакомая мне тонкая, нервная фигура Веры Викторовны Шульгиной²³. Пораженная моим появлением, она увлекла меня в «интеллигентную половину». «Интеллигенток» было не много, всего шесть. Приняли меня радушно, угощали чем могли – остатками селедки. Обрадовались моему чаю, которого у них не было. На ночь Вера Викторовна устроилась на столе, предоставив мне свою койку. Она сидела уже четыре месяца и, видимо, мало надеялась на скорое освобождение; главная ее вина была, кажется, что она сестра брата – офицера, уехавшего на Украину. Бодрая, деятельная, всегда одинаково заботливая, она всех поддерживала нравственно и сама не выказывала уныния. Ее роскошные золотистые волосы

²³ В. В. Шульгина, род. 10.01.1880 (ЦГИА СПб. Ф. 2. Оп. 1. Д. 13937), дочь чиновника Министерства юстиции, действ. стат. сов. Виктора Ивановича (1836–07.08.1900) и Софьи Андреевны Шульгиных, младшая сестра ген.-майора Б. В. Шульгина (1878–1953), выпускница Смольного института (1897 – Черепнин 1915: 646). В 1916–1917 старшая сестра милосердия (видимо, в Царскосельском военно-санитарном проезде № 143 е. и. в. Александры Фёдоровны). Арестована 24.08.1918 по делу о нелегальной транспортировке офицеров русской армии в Архангельск и далее за границу. Переpravку координировал санитарный врач Балтийского флота Владимир Павлович Ковалевский (1875–1918), а Шульгина содержала кафе на углу Знаменской и Кирочной (д. 17), которое выполняло функции явочной квартиры. Вместе с другими участниками организации была расстреляна 13.12.1918 и похоронена у Головкина бастиона Петропавловской крепости (подробнее см.: Ратьковский 2012: 100–115; Кильдюшевский, Петрова 2011: 482–491). 22.11.2022 перезахоронена на кладбище Памяти жертв 9 января (б. Преображенское) на юге Петербурга, как и десятки других жертв Красного террора, останки которых были обнаружены в 2000–2010-х гг. при раскопках на Заячьем острове (см.: СПб. ведомости от 25.11.2022).

обрамляли бледное, исхудалое лицо. И когда она их распустила и стала расчесывать на ночь, то как будто осветила всю комнату.

Начались расспросы, рассказы. Каждая имела свое грустное повествование. У одной муж был арестован и пропал. Пока она сама была на воле, она тщетно его искала по всем тюрьмам; был ли он жив или расстрелян? Она мучилась, переходя от надежды к отчаянию, и от отчаяния к надежде, когда получала какие-нибудь туманные сведения о нем. Эти сведения, главным образом, доставлял ей старший комиссар Геллер²⁴, который позволял себе фамильярничать с ней; она терпела его пошлые шутки, двусмысленные комплименты, лишь бы что-нибудь узнать о муже. Мне же сказали, что Геллер только морочил ее.

Другая, уже пожилая, ничего не знала о своих двух дочерях, арестованных одновременно с нею. Ее обещали вскоре освободить; она этого и желала, и боялась; что узнает она об участи дочерей? Некоторые натуры, как ни мучительна неизвестность, боятся узнать свершившееся.

Столько сосредоточилось мук, терзаний в этих стенах, столько пролитых слез, что они были как <бы> насыщены горем; оно висело в воздухе²⁵, душило.

Дверь не закрывалась в соседнюю комнату, откуда часто заглядывали любопытные женщины, которые оказались большею частью мародерками, спекулянтами или просто воровками, убийцами. Через эту дверь виднелась другая, также открытая в маленький коридор, где дремали часовые, опустив головы на винтовки, стоящие между колен.

²⁴ Семен Леонидович Геллер, в 1918 глава боевого отдела ПетроЧК, руководил работой комиссаров и разведчиков (филёров), в частности, осуществлял арест Каннегисера и его семьи (30.08.1918) и возглавлял вооруженный налет на английское посольство по «делу Локкарта» (31.08.1918). В начале 1919 был уволен из ЧК и назначен зам. комиссара войск Северного фронта. В октябре 1919 арестован, 10 января 1920 приговорен к расстрелу за преступления, совершенные в период службы в ЧК – хищение ценностей, конфискованных при арестах, вымогательство, покровительство спекулянтам и уголовным элементам. О нем см.: Бережков 2005: 38–41.

²⁵ Далее зачеркнута фраза: «как огромная, давящая со всех сторон тяжесть...».

Меня предупредили о необходимой осторожности: шпионство и доносы процветали. Мы говорили шепотом, пока, усталые, не задремали. Не надолго. Беспреданно приводили новых арестованных, но к нам не помещали. Пригоняли баб из просто-народья; каждый раз поднимался шум, визг, брань и, действительно, была давка, некуда помещаться вновь прибывшим. Они, кто сидя, кто полулежа, валяются на грязном полу, тесня друг друга и придавленные наваленными на себя пожитками.

На следующее утро мы пошли заваривать чай в буфетную и прошли через просторную кухню, где готовился обед для комиссаров и членов Чрезвычайной Следственной Комиссии. Они, очевидно, в кушаньях себя не стесняли – оно было в изобилии. Нам же подали какую-то неопределенную бурду и вонючую селедку – больше ничего. Все, кто мог, прикупал на свой счет, посылая в лавку кого-нибудь из конвойных; некоторые охотно исполняли поручения, т. к. за них получали хорошую мзду; другие грубо отказывали. Денег тратилось много, а питание было скудное.

Умывались в загрязненной уборной, куда можно было войти только в галошах. Ходили туда часто через длинный коридор в надежде встретить по дороге комиссара или кого-нибудь другого и что-нибудь узнать. Конвойные, которые должны были нас сопровождать, не одобряли эти прогулки, нарушающие их ленивую дремоту, и часто не воздерживались от скверных слов по нашему адресу.

На дворе постоянно сновали автомобили. Треск часто ломающихся шин походил на выстрелы, и многие заключенные вздрагивали, бледнели и прислушивались каждый раз. Их обнаженные нервы не выдерживали звука, напоминающего расстрел. Вообще было очень шумно и очень тоскливо. Читать было невозможно, хотя у некоторых имелись книги; о постороннем не говорилось, все сосредотачивалось на собственных переживаниях и на слухах, которые приносили вновь прибывающие, на случайных словах того или иного служащего, встреченного по дороге в уборную или в буфет. Все жаловались, многие не осушали глаз. Одна Вера Викторовна всех утешала, подбадривала, о всех заботилась, хотя говорила редко, всегда сосредоточенная и внимательная.

Под вечер явился какой-то человек со списком в руках; за ним стояли часовые. Он стал перечислять имена переводимых в тюрьмы или освобождаемых. Каждая, услышав свою фамилию, всхлипывала от радости или от горя. Назвали меня. Я переводилась в Дом предварительного заключения на Шпалерную. Это назначение для всех явилось неожиданностью, т. к. никто его не ожидал.

Поднялась суматоха. Все готовились. Кто на волю, кто в тюрьму. Было строго приказано не мешкать, и через несколько минут все были готовы. Распрощались друг с другом, у многих слезы блстели на глазах. Из нашей комнаты уходила я одна.

В КАМЕРЕ № 134

Выстроили нас на дворе, по четыре в ряд. Всего четырнадцать женщин направлялись на Шпалерную; свои вещи несли сами. Солдаты с винтовками нас окружали. Сзади группа мужчин, назначенных в Дерябинские казармы²⁶. Я искала среди них своих домашних, участь которых была мне неизвестна. Увидела только Дистерло, стоящего подавленным, понутив голову. Обрадовалась, предполагая, что другие два на свободе, и только позже узнала, что их продержали десять дней в тех же Дерябинских казармах, где была эпидемия сыпного и возвратного тифа, которым один из них и заболел²⁷.

²⁶ Дерябинские казармы на Васильевском острове (морские казармы на углу Кожевенной линии и Большого пр.) в 1918 стали концлагерем, где содержались заложники, арестованные сразу после покушения на М. С. Урицкого и объявления «красного террора». Там находился и поэт Лазарь Васильевич (Вульфович) Берман (1894–1980), близкий друг В. Б. Шкловского, о котором он написал в «Сентиментальном путешествии»: «У меня сидел в тюрьме смертником один товарищ. Мы переписывались. Это было около трех или четырех лет тому назад. Письма выносил конвойный в кобуре. Друг писал мне: “Я подавляю в себе желание жить, я запретил себе думать о семье. Меня страшит одно (очевидно, это была его мания) – меня страшит, что мне скажут: ‘Снимай сапоги’, – у меня высокие шнурованные сапоги до колен (шоферские), я боюсь запутаться в шнуровке”» (Шкловский 2019: 228–229). Подробнее о дружбе Шкловского и Бермана см.: Сальман 2017: 148–167.

²⁷ Подробнее о жизни заключенных в Дерябинских казармах см. воспоминания протоиерея М. П. Чельцова, проведенного в этой тюрьме несколько месяцев 1918 года: Чельцов 1995: 33–56.

После неизбежных во всех случаях русской жизни суеты, беспорядка и сквернословия мы тронулись в путь через Марсово поле и Миллионную²⁸. Было воскресное время, когда возвращаются домой, и я все оглядывалась и надеялась встретить знакомых. Но тщетно. Попросила немолодого конвойного с лицом, внушившим мне доверие, опустить приготовленную открытку в почтовый ящик. Сначала он отказался, но потом исполнил мою просьбу. Шли мы быстро. Две сестры, слабые и болезненные учительницы, одна уже очень пожилая, не попевали за нами. Я просила уменьшить шаг; конвойные постарше согласились, но молодые дерзко возражали, что «их надо подгонять штыками», а уголовные, злобно оглядывая бессильных женщин, понукали их ругательствами.

Совсем стемнело, когда добрались до Шпалерной. Нас ввели в большую, слабо освещенную комнату для записи фамилий и пр. Запись проходила не без запинок. Безграмотность записывающих и записывающихся путала имена и фамилии. Я попала к «интеллигенту», как узнала впоследствии, из заключенных, который взглянул на меня с удивлением, когда назвала себя, и на вопрос, за что арестована, ответила «не знаю».

– Так и записать?

– Да.

Я просила одиночную камеру²⁹. Остальные предпочитали быть вдвоем. Электричество еще не горело. Защищая рукою свечу, почерневший фитиль которой повис на бок и угрожал потухнуть при каждом шаге, надзиратель повел меня наверх. Длинные, гулкие коридоры, крутые лестницы, ряды замкнутых, плотных дверей камер внушали жуть. Остановившись у одного из номеров, вошли в пустую камеру, предназначенную мне. То, что на тюремном наречии именуется бельем, т. е. полотнище из грубого серого холста, плохо покрывающее соломенный матрац, наволочка из такого

²⁸ Путь от Гороховой проходит мимо Александровского сада, через Дворцовую пл., Миллионную ул., Марсово поле, Пантелеймоновский мост через Фонтанку, Пантелеймоновскую ул. и по Литейному пр. до Шпалерной.

²⁹ Едва ли не единственное свидетельство современника о возможности выбрать себе камеру в ДПЗ в 1918.

же холста на соломенной избитой подушке, было смято, покрыто подозрительными пятнами. Из драного матраца выбивались клочки гнилой соломы. Я справилась, нельзя ли переменить «белье». «И это достаточно хорошо для Вас», – получился ответ; надзиратель повернулся и ушел, замкнув тяжелую железную дверь на ключ. Звук закрывающихся замков в тюрьме совсем особенный, нигде не бывает так пронзительно, вызывающе и безучастно жестокий.

Вспыхнуло электричество, и я осмотрела свое новое жилище. Три шага в ширину, шесть в длину. Против двери окно с железной решеткой, высоко вделанной в наружную стену во двор. Железная койка, железный столик, такой же табурет, все привинченное к стене; чугунная почерневшая раковина, белая эмаль давно облупилась, т. е. не чищенная, видно, месяцами. Над столом 5-тисвечевая электрическая лампочка, тускло горящая. Сидя на табурете, читать было темно, и надо было стоять под самым светом.

Надзиратели размещали вновь прибывших; шаги их и лязг больших ключей, хлопанье тяжелых дверей отчеканивались в гулких коридорах. Наконец все стихло. Началось ночное перестукивание. Стучали сверху, снизу, с боков. Вся тюрьма говорила своим обычным тюремным языком. Я не отвечала и, сидя на табурете, предугадывала предстоящую ночь. Со мной не было ни белья, ни подушки. Ставив матрац, я легла на голые грязные доски, завернувшись в одеяло, захваченное с собой. Уснуть не могла. Несмотря на тишину, наступившую, когда устали перестукиваться, казалось, вся тюрьма шепчет свою горемычную повесть, вздыхает и стонет под гнетом горя, насыщающего воздух, наполняя его не видимой, но ощутимой тяжестью; точно вековая, громадная глыба человеческого страдания теснила со всех сторон. Эти давние, всеобщие мучения проникали во все существо, вдыхались с каждым дыханием, пропитывали все тело, причиняя невыразимую физическую боль. Клещи страдания сжимали грудь.

Электричество потухло. Я вскочила, зажгла спичку. Было десять часов. Крикнуть, броситься к двери, пробить стену, вырваться из этого одиночества, заселенного отчаянием, где невидимые слезы капали камнями на изболевшие нервы, – и сознание, что

кричать, стучать, сломать себе руки, голову бесполезно! Двери не открыть, стены не пробить, никто не откликнется на крик – это сознание было настолько ужасно, что я почувствовала близость сумасшествия. Я поняла, что надо сделать усилие над собой, иначе совершится нечто страшное, неотвратимое.

Собрав всю силу воли, я отогнала осаждающие призраки, мысли, и за все время моего пребывания в тюрьме, как только они надвигались, – я их гнала. Думаю, это единственный способ не лишиться рассудка.

Утром, еще было темно, меня разбудил после мучительного, прерывающегося сна пронзительный возглас: «Мусор есть, мусор есть?». Залязгали ключи, появилась надзирательница. Камеру я с вечера не мела, дверь захлопнулась. Двери в тюрьме никогда бесшумно не закрываются, а стучат как удар молота, и слышны были раскаты удаляющегося пронзительного голоса, повторяющего те же слова по коридору.

Дверное «окошко» – оно тоже было замкнуто на ключ – открылось, и та же надзирательница спросила, нет ли у меня писем или заявлений. Ни того, ни другого не было. «Окошко» осталось открытым, и вскоре грязная рука просунула на откидную дощечку ломоть скомканного сырого хлеба, сдерживаемый воткнутой щепкой в середине.

Что-то вдруг загрохотало по коридору, сопровождаемое визгливыми шутками, хохотом и сквернословием. Уголовные – растрепанные, грязные – тащили чан с кипятком и спрашивали, кому он требуется. Мне сунули засаленный оловянный котелок и деревянную обгрызенную ложку, скользкую от всего на ней накопившегося. Налили кипятку, но заварить чай в нем не решилась. Вода жирная, мутная, отдавала гнилой рыбой. Когда не хватало кипятку, разбавляли из-под крана. Потом узнала, что в том же чане разводят суп и что он никогда не чистится. Вообще в тюрьме, кроме коридоров и, вероятно, кухни, ничто не чистилось, некому было. Я была разбита и голодна, с собой ничего не взяла.

Срое октябряское утро лениво ползло и тускло освещало камеру.

Чтоб видеть двор, надо было влезть на высокий подоконник. Из камеры виднелись только скучные, угрюмые, высокие желто-грязные стены, симметрично проткнутые продолговатыми окнами с железными решетками. В одной из них неизвестно почему болталось маленькое красное чучело.

Часы казались вечностью.

Попробовала вымести камеру, но ветхая швабра оставляла густой след грязи на пыльном, черном асфальтовом полу, где посредине тянулась глубокая борозда, протоптанная возбужденным нетерпением запертого человека.

Делать нечего. Стала ждать. Чего? Сама не знала. Думы осаждали, тревожные, гнетущие. Почему посадили, надолго ли? А главное, мучило беспокойство о домашних. Что с ними? Знать только одно – что ничего знать нельзя.

Никакое слово не передаст того, что переживается в такие минуты. Требуется какое-то новое, не употребленное и не употребляемое в иных случаях слово – веское, исключительное... А может быть, его и не найти, не передать непередаваемого...

Представился мне Зоологический сад, клетки с разными зверями, бегающими взад и вперед и с лихорадочным отчаянием глядящими на свободно гуляющих людей. Звери с такими глазами испытывают то же, что и мы... И те же люди заключают в неволю и зверей, и себе подобных...

– На прогулку, готовьтесь на прогулку, – прокричала надзирательница, пробегая по коридору.

Зазвенели ключи, затрещали замки, захлопали двери.

Все заключенные вспорхнули из своих камер. Кто бегом, кто степенно, но все радостные спустились по лестницам, разделенным тяжелыми дверьми, вероятно, для возможной изоляции в случае беспорядков, в длинный темный коридор-кишку. В нем помещались карцеры, несколько камер, редко заполняемых, т. к. лишены были света и обильно снабжены сыростью, даже водой. Пройдя через низкую дверь, где сторожили вооруженные надзиратели, очутились на воздухе, на свете Божиим!

Светил он мало, скупо. Простора во дворе не было, но не было замкнутых дверей, было больше шести шагов пространства! Угрюмые стены теснили каменный мешок. Виднелось немного неба, низкого, серого, был воздух, были люди – главное – люди. Как ни раздражительно их постоянное присутствие, полное отсутствие их нестерпимо.

Двор был полон гуляющих; середина была окружена большим сквозным забором, внутри которого все кружились. Вплотную к нему толпились уголовные, плохо одетые, с головами, замотанными рваными платками, с вульгарными, бессознательными лицами. Все жаловались на судьбу, не понимая, за что взяты, среди них было много невиновных, но были и преступницы. Одна из них, как мне помнится, выделялась своей тучностью. Она была довольно еще молода, лучше других одета, в большой голубой шали, с красным, жирным лицом, не безобразным. Грузно обрушившись на скамейку, в обширном круге своих юбок, с улыбкой на плоских чертах, самодовольная, словоохотливая, она сравнивала условия тюрем, которые хорошо знала, перебивав во всех, и рассказывала, не без хвастовства, о шести совершенных ею краж и убийств, а главное, о последнем: свою жертву она сварила в ванне. Слушали ее без возмущения, скорей с любопытным удивлением.

«Интеллигентные» заключенные не смешивались с уголовными. Они топтались в круге обыкновенно под руку друг с другом. Были истощенные, бедно одетые и нарядные, нарумяненные, в котиковых модных пальто, в дорогих шляпах, точно вышли на прогулку в город. Много молодых бессодержательных лиц, любопытно вглядываясь в окружающих. В общем, почти все производили впечатление случайно и неизвестно за что загнанных в этом дворе. Значительных лиц было мало.

Одна из гуляющих, в глубоком трауре, поразила меня скорбью всей фигуры. Взор ее как будто остановился в каком-то отчаянном ужасе, точно каменная безжизненная маска на лице; она никогда не улыбалась, слезы часто, бессознательно текли, не осушенные, по впалым щекам. Она или сидела неподвижная на скамейке, или, как автомат, ходила с другой, тоже в трауре. Они были сестры, а

первая – мать Каннегисера³⁰. После убийства Урицкого арестовали всю семью, включая и бабушку 85 лет³¹, и всех служащих в конторе, более 150 человек. Тут же находилась и дочь³². На вдохновенных чертах неутешное горе наложило свою печать. Она стояла под прикрытием наблюдательной башни, возвышающейся посреди двора, и с испуганным лицом мученицы, с горящими глазами, вся любовь, нежность и сострадание, она не отрывала взора от противоположного окна, за решеткой которого стоял ее отец³³. Она делала знаки, ему одному понятные, и передавала ему через разделяющее их пространство всю силу своего чувства, пламенное свое участие. Она не двигалась, не замечала, что делалось кругом, и только, встрепенувшись, уходила, когда кончалась прогулка. Шла, как во сне, автоматически, далекая от всех, близкая только тому, кого она оставляла своему безутешному горю.

Встретила знакомых, недоумевающих, как и я, о причинах ареста. Кто за знакомство с офицером, кто за знакомство с каким-нибудь французом, шведом, англичанином. Знакомство с шведами считалось особенно предосудительным. Одна моя приятельница рассказывала мне, что ее арестовали за то, что у нее часто обедал швед, которого она давно знала. Другого обвинения ей не предъявляли. Швед был на свободе, а она в тюрьме. Другая – за то,

³⁰ Роза Львовна Каннегисер (урожд. Сакер; 1863–1946) – мать Леонида Иоакимовича (Акимовича) Каннегисера (1896–1918, расстрелян), застрелившего 30.08.1918 председателя петроградской ЧК М. С. Урицкого. Ее спутница, названная В. И. сестрой, это, по-видимому, Мария Абрамовна Мандельштам (? – 1953), бывшая замужем за двоюродным дядей Леонида, переводчиком Исаем Борисовичем Мандельштамом (1885–1954, в ссылке), также арестованным. Все родственники Леонида были выпущены из ДПЗ, вероятно, во второй половине декабря 1918 (см.: Алданов 1923: 375; указываем первое, самое полное издание очерка, перепечатки 1990-х выходили с купюрами). В 1919 и в 1920 ЧК пыталась возобновить следствие, поскольку освобождение арестованных (вместо расстрела) означало неправильное ведение дела (подробнее см.: Шенталинский 2007: 182–184). В марте 1921 семья Каннегисеров вновь попала за решетку, а в 1924 ей удалось уехать из СССР (см.: Там же: 184). О Л. И. Каннегисере, помимо названных выше публикаций, см.: Морев 1994: 115–149.

³¹ Розалия Эдуардовна, см.: Шенталинский 2007: 110.

³² Елизавета Иоакимовна Каннегисер (домашнее имя Loulou, Лулу; 1897? – 1942/43?, Освенцим?).

³³ Иоаким Самуилович (Аким Самойлович) Каннегисер (1860–1930) – инженер.

что носила очень известное и нелюбимое большевиками имя мужа, с которым не жила уже лет десять. Не перечислить все курьезы.

Были и «забытые». Помню одну сестру милосердия. Она сидела как придавленная к скамейке, отсутствующая, сгорбленная, изголодавшаяся. Безучастное, застывшее, пожелтевшее лицо; потертое пальто, заношенное, не заштопанное, неопрятное платье, мятая косынка. Небрежно одетая, вся она была пришибленная, жалкая, безвольная, безжизненная. Она оказалась сестрой тифлисской общины, приехала в Петербург в первый раз навестить больную мать, которая ее послала с поручением к знакомому. Его только что увезли в тюрьму, в доме была засада. Сестру арестовали и препроводили на Шпалерную, где она сидела уже шесть месяцев. Мать умерла, немногочисленные знакомые разъехались, у нее в городе никого не осталось. Никто о ней не хлопотал, никто ей ничего не присылал, и забытая, голодная, она продолжала сидеть в тюрьме, не предвидя конца. Мало развитая, подавленная случившимся, она даже не протестовала, не напоминала о себе, не возмущалась, а просто голодала, мучилась и чахла. Ее удалось освободить после моего освобождения.

Таких, не получавших ничего извне, совсем одиноких, было довольно много, и их положение было очень тяжелым. Они слабели и погибали от недоедания, тюремная пища не могла насытить, не говоря о том, что она была омерзительна.

Через двадцать минут прогулка прекратилась и нас погнали в камеры, строго запрещая останавливаться по пути. Снова лязг ключей, хлопанье дверей, снова бешеный приступ бессильного и безмолвного негодования...

Загрохотало что-то по коридору. Уголовные тащили котел, хихикая, добродушно обмениваясь перебранкою и шутками. Раздавался звонкий голос надзирательницы: «Обед, обед».

В мой котелок налили вонючую жижицу, называлось это супом и было единственное блюдо на обед. Есть не могла, несмотря на голод. В темно-бурой воде плавали хвосты и головы каких-то рыб, воблы или селетки, которые сильно пахли гнилью. Раздавали еще кипяток – его не жалели – и затем наступило затишье. В 4 часа вторая дневная прогулка. Многие не выходили, опасаясь сырости и

слякоти, хотя прогулка была единственным способом видеть и говорить с людьми.

После прогулки опять угощали кипятком. Наступал октябрьский мрак до 6 часов. Ужин, повторение обеда, снова кипяток – и жизнь замирала. К вечеру меня позвали за передачей на площадку лестницы, где надзиратель открывал посылку, перебирал по вложенному списку, разворачивал завернутое, разрезал хлеб, картофель, котлеты и пр. Черный кофе не допускался; не допускалась и писчая бумага. Свои заявления я почти всегда писала на кромках газет.

Увидев знакомый почерк, я забыла все мучения; пишут, значит, здоровы, живы. Если б люди на воле знали, какое значение имеет один вид почерка, все близкие вписывали бы свое слово в список передачи и этим успокаивали бы терзающие душу опасения, принимающие в одиночестве фантастические размеры. Но это понять могут только пережившие.

Ночью опять перестукивались, говорили через трубы, и некоторые разговоры были так громки и так неосторожны, что становилось страшно за говорящих. Эти разговоры – часто между незнакомыми людьми – являлись доказательством необходимости сношения человека с человеком. Говорили из одного этажа в другой люди, которые друг друга никогда не видели, сообщали подробности жизни, делились своим душевным состоянием – и вдруг смолкали, услышав осторожные, заглушенные мягкими туфлями шаги подслушивающего надзирателя.

На следующее утро к «окошку» подскочил молодой и бледный, опухший лицом арестант.

– Я тоже политический-с – С. Р.-с, – произнес он скороговоркой, пугливо озираясь кругом. – Не угодно ли Вам кипяточка-с из чайника-с – пять рублей в неделю-с.

Я согласилась с удовольствием и поинтересовалась узнать, почему ему позволяют свободно разгуливать. Он пояснил, что находится на Шпалерной уже пять месяцев и что в отметку его хорошего поведения ему предоставлены некоторые льготы. Роль его мне стала ясна, я не поощряла дальнейший его разговор, но от кипятка не отказалась.

Его звали Гришей. Он не только, как потом убедилась, доброжелательно относился к «политическим», но, несомненно, и с нежной заботливостью стремился оказать им все услуги, какие только мог, подробно и аккуратно сообщал тюремные события, слухи. Записки из камеры в камеру, словесные поручения он передавал с каким-то сладострастием. Ему доставляло истинное удовольствие «перехитрить начальство», и каждый раз что, боязливо и быстро оглядываясь кругом, проскользал в «окошко» его сжатый кулак со скрытой в нем запиской, его бесцветные глаза блестели, сияющая улыбка обнажала черные гнилые зубы бескровного рта, и он наслаждался и ликовал. Когда наливал кипяток, он, захлопывая <«окошко»>, торопливо выговаривал возможно большее количество слов в наименьшее количество времени, сообщая малейшие подробности собранных им новостей. Вместе с тем он довольствовался наименьшими подачками, очень был за них благодарен и редко сам просил что-нибудь, а когда просил, то всегда в очень скромных размерах. Я думаю, что из желания угодить и услужить каждому, он передавал с одинаковым рвением и заключенным, и «начальству», которого, между прочим, смертельно боялся. Злонамерения, злобности у него не было никакой, и если он и делал зло, то только по свойственной ему угодливости.

Пришел заведующий библиотекой, тоже из арестованных «интеллигентов», бледный и опухший, как все заключенные, с бегающими, ускользающими глазами, робкий, запуганный; он мне показался не симпатичным. Он предложил мне книг для чтения, библиотека была богато снабжена книгами с давних пор – я это знала, но опасалась, что каталоги пропали, и трудно было сделать выбор. Я наугад написала длинный список и через несколько дней мне доставили некоторые книги. Когда я их получила, я нежно держала их в руках, хотелось покрепче прижать к усталому сердцу. В разлагающей обстановке жестокости и зла, созданной человеком, трудно подчас не усомниться в его высшем назначении; книга же, где светит все его лучшее, где дурное отодвигается в тень, возвращает поколебавшуюся веру и утраченную любовь. Я читала с упоением,

так что иногда забывала, где нахожусь, хотя читать можно было только стоя у окна в хмурые октябрьские дни.

Как-то раз откинулось «окошко» и в нем появилась белая косынка сестры милосердия. Незначительное, но интеллигентное лицо, елеинный голос, соболезнующие банальные слова мне не понравились. Я ей указала на замаранное белье, на гнилую солому, на все вообще антисанитарное состояние камеры, которое и в обыкновенное время недопустимо, а во время эпидемий, как теперь, было прямо опасно. Она вздыхала, соглашалась со мной, но заявила, что ничего изменить не может, так как никто никого не слушает и работать не хочет. Я попросила видеть доктора, что ей не совсем понравилось, она почему-то очень его берегла, уверяла, что он болеет душой и телом и так же бессилен, как и она. Я все-таки настояла, и она меня записала на прием следующего дня.

Грустно было видеть женщину, носящую эмблему креста, так мало соответствующую своему высокому назначению. Если б она действительно была «сестра» и понимала бы свои обязанности, была бы проникнута важностью своего призвания, сколько бы она могла утешить, успокоить, поддержать людей, оторванных от жизни, от всего им близкого и дорогого. Доступ в камеры ей был свободен, она никем не контролировалась, она могла одним своим сочувствующим присутствием возжечь гаснущую надежду в истерзанных, усталых сердцах. Но для этого нужно было пережить переживаемое другими, нужно было страдать чужим страданием, а не формальное, фарисейское отношение, не бояться за свое место.

Когда увидела доктора (он принимал в пустой камере, не приспособленной к амбулатории), я сразу поняла, что от него ничего не добиться. Он давно уже служил в этой тюрьме, при всех режимах, и у него были такие же приемы, как и у сестры: формальное, елеинное, фарисейское, а в сущности, безразличное. Соглашаясь с моими доводами относительно антисанитарности камер, он соболезненно вздыхал, боязливо оглядывался и заявил, что ничего сделать не может. Он мне сообщил, что получил два медицинских свидетельства, касающихся меня, но хода им не дал, так как это было бы бесполезно. Комиссар не обращает внимания на заявления

посторонних врачей. Я попросила о продлении прогулки, так как с моим больным сердцем я задыхаюсь от пыли и скверного воздуха камеры. Он посоветовал написать заявление комиссару, заявление поддержит, но я была убеждена, что это были только пустые слова.

Меня перевели в другую камеру. Размер и обстановка были одинакие, но новый надзиратель самодовольно постлал чистое полотнище, дал чистую наволоку, хвастаясь своей аккуратностью. Несмотря на что грязное сменное белье осталось валяться на полу до моего выхода.

Три надзирательницы обслуживали женский коридор, и добросовестно исполняли свои обязанности ничего не делать и ничем не помогать арестованным. Я помню, как одна из них, с претензиями на красоту и молодость, сильно подрумяненная, стояла, скрестив руки, на пороге камеры, пока я мела.

– Фу, как вы пылите, – морщась, заметила она.

– Вы, вероятно, лучше умеете это делать, вам привычней, чем мне, – возразила спокойно я и взмахнула шваброй так, что ее обдало пылью. С тех пор она воздерживалась от замечаний. Каждая из них, больше ознакомившись со мной, жаловалась «по секрету» на новые порядки, на увеличивающееся шпионство, на постоянные доносы друг на друга. Опустить открытку в почтовый ящик, сходить за какой-нибудь покупкой они категорически отказывались. Говорили всегда шепотом, оглядываясь, заstraщенные угрозой «стенки». «Ведь у *них* одна расправа», – боязливо шептали они.

Комиссар был новый, свирепый, латыш³⁴; ни пощады, ни снисхождения он не допускал ни заключенным, ни служащим.

³⁴ Христиан Янович Трейман (1887–1978) родился в Лифляндской губ., сын сапожника, образование низшее. Слесарь. С 1904 выполнял технические поручения в рижской организации латышской СДРП, в 1905 участвовал в экспроприации в государственном банке, в 1906 осужден Гельсингфорским судом на 10 лет. Наказание отбывал в Финляндии, в 1913 освобожден по амнистии. В 1916 мобилизован в латышский стрелковый полк, где и находился до 1917. Впоследствии член Общества политкаторжан и ссыльнопоселенцев, член ВКП(б) (см.: Политическая каторга и ссылка 1929: 563–564). Год смерти приводим по: <https://geno.ru/node/72/%D0%A2/?page=20>. Великий князь Николай Михайлович писал о Треймане 06.01.1919: «Седьмой месяц пошел моего заточения в качестве заложника <...> за последние три месяца

Служащих при входе и выходе (почти все жили в казенном доме на той же улице) тщательно обыскивали, и одного надзирателя действительно поставили «к стенке» за найденную открытку одного из арестованных. Такая расправа достигла желаемого результата и навела террор на всех.

Лучше остальных была одна надзирательница из «простых». Она делала по своему разумению, что могла; передавала записки и еду от одних к другим, когда ее об этом просили; оставляла дольше открытым «окошко». Из него несло едким коридорным запахом, но слышны были все движения тюремной жизни и это развлекало. За эти поблажки ей перепали кое-какие крохи от «передач», и она их очень ценила. Я ей всегда давала казенный хлеб, она его ждала, приходила голодная на дежурство, оставив свою порцию детям дома.

Передачи ожидались с нетерпением, которое поймут только те, кто испытал муку заключения. Вид дорогого почерка на приложенном списке облегчал временно гнетущее беспокойство за близких, а это непрерывное, сверлящее опасение тяжелее всего. Я, по крайней мере, совсем не заботилась о себе, так как была уверена, что обо мне хлопчат, но неизвестность о том, что с близкими мне людьми, была подчас невыносима, и каждый раз, что получала передачу, я хватала список с замиранием сердца.

Одно из светлых воспоминаний (их было очень мало) – это когда я нашла в одной из передач образок, присланный моей приятельницей А. Г. Никогда ничто, кажется, мне не причинило такой радости, как этот образок, в котором я чувствовала и неустанную заботу, и горячую молитву дорогого мне друга. По вещам я узнавала, кто их прислал, и каждый раз это было большое

тюремные обстоятельства изменились к худшему и становятся невыносимыми. Комиссар Трейман, полуграмотный, пьяный с утра до вечера человек, навел такие порядки, что не только возмутил всех узников своими придирками и выходками, но и почти всех тюремных служителей» (Великий князь Николай Михайлович 1992: 87). По-видимому, дата поставлена по ст. ст., но подтвердить это невозможно. Николай Михайлович (1859–1919) – внук Николая I, генерал-адъютант. Был председателем Русского географического и Русского исторического общества. Автор нескольких исторических исследований из эпохи Александра I, инициатор обширной программы «Русский некрополь».

утешение. Если б люди на воле имели представление о том, как ценно и дорого каждое малейшее доказательство их памяти и заботы, они бы никогда не пропускали случая это сделать.

Дни тянулись в томительном однообразии. Единственное развлечение – прогулка, где обменивались новостями, всякими «слухами», наполняющими тюрьму. В этом отношении мы ничем не отличались от свободных «граждан». Тюрьма, как и вся Россия теперь, живет только слухами. Достоверного ничего, но сенсационных разговоров бездна; столько же, сколько надежд и упований, рождающих и распространяющих эти «слухи», которые в зависимости от их содержания приносили радость или беспокойствие и разочарование.

Все интересовались четырьмя Великими князьями, которым разрешалось гулять два раза в день одновременно с нами. Они привлекали общее внимание; за ними наблюдали, всматривались в них, отмечали выражение лиц, на чем строили разные предположения. Они проходили мимо нас один за другим вглубь двора, за дровами скрываясь от любопытных взоров.

Грустный и болезненный вид Павла Александровича³⁵ вызывал соболезнование и симпатию; его жалели все несмотря на то что он ничем себя не проявлял и никогда не заговаривал ни с кем, кроме своих прежних знакомых. Изящный, высокого роста, как и остальные, стройный, всегда хорошо одетый, с редко элегантной и породистой осанкой, он проходил, не поднимая глаз, немного торопливо, как бы стесняясь общего любопытства. Иногда только, когда беседа с братьями оживлялась, был слышен его негибкий, немного деревянный, густой, без интонаций голос.

Николай Михайлович, наоборот, был очень общительный, буффонил громко, голосом, привыкшим к командованию, надсмехался, с своими острыми недобрыми глазами искал знакомых среди вновь прибывших и радостно их приветствовал. Он очень изменился; не было его гордой осанки, он как-то сгорбился, как

³⁵ Павел Александрович (1860–1919) – сын Александра II, генерал от кавалерии; двоюродный брат в. к. Николая Михайловича.

надломленный, одевался нерячливо, исхудалое лицо с багровыми пятнами покрылось глубокими широкими морщинами. Он поглощен был писанием своих воспоминаний³⁶, не жаловался на скуку, но раздражался долгим заключением и заметно хирел. Ему обещали скорое освобождение, которого он ждал нетерпеливо, ждал с часу на час. По мере того, как дни проходили, а освобождения не было, он нервничал, сердился, имел столкновения с комиссаром и с надзирателями; ему, властному и необузданному, трудно было подчиняться тюремному режиму, неволе. Заглушая тоску, он еще больше паясничал; его шуток, не всегда приятных, опасались, и его чудачества часто осуждались; чуждались его фамильярничанья, через которое сквозила немного презрительная, высокомерная надменность.

Вспоминая прошлое, он мне горько жаловался на Государя, которого он часто предупреждал о необходимости реформ (он в семье слыл «красным»), упрекал его в слабых характеристиках, в том, что окружал себя недостойными людьми, под влияние которых попадал. Очень резко и враждебно отзывался об Императрице Александре Федоровне, обвиняя ее, главным образом, во всех несчастиях семьи. Он ее считал неумной, недоброй, упрямой, самовольной, холодно экзальтированной, в руках проходимцев, эксплуатирующих ее суеверный, узкий мистицизм в пользу своих личных, низменных вождедений и выгод. Николай Михайлович вообще был так раздражен, что почти ни о чем говорить спокойно не мог. Он говорил много, в повышенном тоне, потом как-то сразу обрывался, точно интерес минуты прерван глубоким тревожным беспокойством.

Георгий Михайлович³⁷, с своим некрасивым, солдатским лицом, скромно одетый, ходил сумрачный, не словоохотливый,

³⁶ В уже цитированном письме от 06.01.1919 Николай Михайлович писал, что готовит «большую работу о Сперанском, несмотря на все тяжелые условия и большой недостаток материалов» (Великий князь Николай Михайлович 1992: 87).

³⁷ Георгий Михайлович (1863–1919) – внук Николая I, служил в лейб-гвардейском уланском полку, с 1895 занимал почетную должность управляющего Музеем императора Александра III (Русским музеем), нумизмат.

разговаривал только часто с одним надзирателем, бывшим вах-мистром в его эскадроне и награжденный им же Георгиевским крестом. Он окольным путем получил из Англии письмо от своей жены³⁸, которая сообщала ему об убийстве царя и всей его ближайшей семьи. Подробностей было мало, но то, что она писала, было ужасающее зверство. Убийцы были красноармейцы. Убили Государя, Государыню убили с наследником на руках; великих княжон изнасиловали и убили на глазах родителей³⁹. Убили также лейб-медика Боткина⁴⁰, адъютантов Государя Татищева⁴¹ и кн. Долгорукова⁴², лектрису Шнейдер⁴³ и одну из фрейлин, немолодую; предполагают, что убитая Бар.^{ca} Буксгевден⁴⁴, а о другой, молодой, Гр.^ш Гендриковой⁴⁵ ничего не известно.

Георгий и Николай Михайлович не сообщили братьям содержание письма, держали его в тайне, и меня просили о нем молчать, что я исполнила. Теперь только, когда их уже нет в живых, я считаю себя вправе обнаружить то, что они мне доверили и что, кажется, знают уже многие из других источников. Великая княгиня Мария Георгиевна упоминала также тревожные вести о насильственных смертях В. К.^ш Елисаветы Федоровны⁴⁶, трех братьев Дмитрия

³⁸ В. к. Мария Георгиевна (1876–1940) – двоюродная племянница Георгия Михайловича, его жена с 1900.

³⁹ Царская семья вместе со свитой была расстреляна в ночь на 17.07.1918 (по нов. ст.). Изнасилования не было.

⁴⁰ Евгений Сергеевич Боткин (1865–1918) окончил Военно-медицинскую академию, доктор медицины, с 1908 – лейб-медик. Расстрелян в ночь на 17.07.1918.

⁴¹ Илья Леонидович Татищев, граф (1859–1918). Окончил Пажеский корпус, с 1910 – генерал-адъютант. Убит 10 июля.

⁴² Василий Александрович Долгоруков, князь (1868–1918). Окончил Пажеский корпус, с 1912 – генерал-майор свиты, с 1914 – гофмаршал. Убит вместе с Татищевым.

⁴³ Екатерина Адольфовна Шнейдер (1856–1918) – лектриса императрицы. Окончила петербургскую гимназию и педагогические курсы. Учила будущую императрицу русскому языку после ее помолвки. Убита в Перми 04.09.1918.

⁴⁴ София Карловна Буксгевден, баронесса (1883–1956, в эмиграции) – фрейлина императрицы, через Японию и США добралась до Европы. Оставила мемуары.

⁴⁵ Анастасия Васильевна Гендрикова, графиня (1887–1918) – фрейлина императрицы с 1910. Убита в Перми 4.09.1918 вместе со Шнейдер.

⁴⁶ Великая княгиня Елисавета Федоровна (1864–1918) – старшая сестра императрицы, вдова в.к. Сергея Александровича (дяди Николая II), убитого в 1905 эсером

Константиновича⁴⁷ и молодого князя Палей⁴⁸, сына В. К. Павла Александровича, будто бы умерщвленными в Алапаевском монастыре, где они все жили перед наступлением белых. Трупы были брошены в шахту, и все это происходило 6 июля⁴⁹.

Насколько достоверны были эти слухи, Великая княгиня не знала; были только еще не проверены слухи, дошедшие в Англию, а о смерти Государя и его семьи не было сомнения, и она считала его свершившимся фактом. Слухи эти подтвердились потом, и, кажется, нет сомнения, что они верны. По сведениям Николай Михайловича, Сергей Михайлович⁵⁰ находился в каком-то чудодейственном Сибирском курорте, где лечил свои ревматизмы, и был вне опасности. Кажется, увы, что он был плохо осведомлен и что Сергея Михайловича постигла та же участь, что и других.

Оба брата были глубоко потрясены этими известиями, а Георгий Михайлович ничего не ждал, ни на что не надеялся, как будто

И. П. Каляевым. Убита под г. Алапаевск в ночь на 18.07.1918.

⁴⁷ Описка В. И. Великий князь Дмитрий Константинович (1860–1919) – внук Николая I, двоюродный брат Александра III, генерал от кавалерии, был родным братом поэта К. Р. (в. к. Константина Константиновича), а упомянутые три брата – Иоанн Константинович (1886–1918), Константин Константинович мл. (1891–1918) и Игорь Константинович (1894–1918) – сыновья К. Р. и племянники Дмитрия Константиновича. Все три сына К. Р. были убиты под Алапаевском вместе с в. к. Елисаветой Федоровной и В. П. Палеем (см. ниже).

⁴⁸ Владимир Павлович Палей (1896–1918) – сын в. к. Павла Александровича от морганатического брака с Ольгой Валерьяновной Пистолькорс. Учился в Пажеском корпусе, писал стихи на французском, английском и русском языках. В 1915 поехал на фронт, но вскоре по болезни взял отпуск. В 1916 и в 1918 вышли сборники его стихотворений. В апреле 1918 был сослан в Вятку, оттуда в Екатеринбург. Затем Палея отправили в г. Алапаевск. В ночь на 18.07.1918 брошен в рудничную шахту в окрестностях города вместе с в. к. Елисаветой Федоровной. Рассказ об убитом поэте, «названном “Владимиром Баглеем”, содержится в пьесе И. Бабеля “Мария”» (Тименчик 2016: 326). Возможно, Палей послужил одним из прототипов поэта-самоубийцы в «Поэме без героя» (см.: Там же).

⁴⁹ В. И. указывает дату по старому стилю, ошибаясь на один день.

⁵⁰ Великий князь Сергей Михайлович (1869–1918) – брат Николая и Георгия Михайловичей, с 1905 генерал-лейтенант и начальник главного артиллерийского управления. Убит в ночь на 18.07.1918 под Алапаевском вместе с перечисленными выше родственниками.

утратил вкус к жизни, и точно в ней не принимал уже участия, безразлично относясь ко всему окружающему.

24^{го} октября нас не пустили на прогулку; передачи не было; следующие четыре дня мы оставались запертыми в камерах⁵¹. Многие буквально голодали и писали отчаянные записки. Строгости надзора усилились: ночью то и дело осторожно подползали шаги подслушивающих надзирателей, щелкали кнопки электричества в тишине, и зоркое око припадало к «глазку» и проверяло действия заключенных. Не спали многие, но притворялись спящими все. Ощущение пытливо инквизиторского взгляда, пронизывающее, обнажающее все ваше существо, стерегущее вашу сокровенную мысль, вашу душу, чтоб уловить их в каком-нибудь невольном движении, в слове, бессознательно произнесенном во сне, и ведающее, м. б., то сокровенно важное, что утаивается, настолько оскорбительно, что может довести человека до крайности. На башне во дворе появился большой фонарь, свет которого стелился по всей камере, и не было места, утаенного от его мягкого, расстилающегося всюду и все обличающего света. Мне он был приятен, как нечто живое, разделяющее и хранящее мое одиночество.

Почему нас лишили прогулок? Надолго ли? Что случилось? Что нас ожидало еще? На мои вопросы надзирательницы отвечали мне с еще большей боязнью, едва слышным шепотом, что опасаются каких-то беспорядков в тюрьме, что усилен караул, удвоено число

⁵¹ Дата указана баронессой по старому стилю. Накануне, 23.10.1918 – по советскому календарю 05.11 – в Петрограде в связи с приближавшимся празднованием первой годовщины Октябрьского переворота был введен особый военный режим, действующий до конца праздников, то есть до 09.11 включительно: военные части приведены в состояние повышенной готовности, в государственных ведомствах установлено вооруженное дежурство, отменены старые автомобильные пропуска, а выдача новых затруднена, разосланы предупреждения о возможных политических провокациях (см., в частности: Северная коммуна. 05.11.1918. № 148. С. 1). Резонно будет предположить, что аппарат ЧК, куда гражданам рекомендовалось сообщать обо всех «враждебных выступлениях», в эти дни также работал в особом режиме, который был призван минимизировать возможность нежелательных происшествий. Враждебные элементы, сконцентрированные в ДПЗ на Шпалерной, естественно, должны были стать первыми жертвами повышенной бдительности чекистов и лишиться всех своих и без того сомнительных привилегий.

надзирателей. Насколько были неосновательны и нелепы эти опасения! Что могли сделать безоружные и обессиленные люди? Ожидались будто бы какие-то выступления и извне. Надзиратели кричали более обыкновенного, надзирательницы трусили и срывали свои нервы на заключенных. По ночам комиссар обходил коридоры, кричал, кого-то бранил, чаще хлопали двери и лязгали ключи. Как-то раз поднялся нечеловеческий крик; мужской голос вопил: «Помогите! душат, режут!», другие громкие голоса отвечали. Происходила какая-то отвратительная возня, голос сипел, повторяя все те же слова слабее и слабее, мало-помалу затих; слышен был какой-то храп, топанье многочисленных шагов, – и все утихло.

На следующее утро, несмотря на все мои старания, не узнала, что произошло. Отвечали надзирательницы и даже Гриша все одно: будто бы уголовные арестанты подрались в общей камере, один стал душить другого, и что обоих повлекли в карцер. Может быть, это и была правда, но крики были какие-то странные, и их все слышали.

Настроение было возбужденное. Ночью тревожные разговоры часто прерывались обходами «начальства». Эти разговоры, полные страха неизвестного, неожиданного, но опасаемого, изобиловали всякими предположениями, которые быстро передавались как факты. Мы ожидали каждую минуту, что ворвутся к нам и учинят кровавую расправу. Воспаленное воображение рисовало самые мрачные картины. Многие после этих четырех дней изменились. Время, казалось, нескончаемо. Одна ночь прошла особенно беспокойно; много было шума, громких разговоров, беготни по коридорам и лестницам. На следующее утро мне по секрету сообщил Гриша, что привезли много немцев, и что все они размещены под нами.

Оказывается, что взбунтовались военнопленные, захватили в свои руки власть, образовали солдатский Совет наподобие наших, который и арестовал всех прежних высших чинов, предоставил их Ч.С.К., а она их посадила на Шпалерную⁵². Рассказывал он

⁵² Эпизод этот логично вписывается в историю репатриации военнопленных Централных держав из России после Брест-Литовского мира (заключен 03.03, аннулирован 13.11.1918). В распространение 8-й статьи мирного договора и согласно Берлинскому протоколу от 24.06.1918 в РСФСР были созданы 14 германских, а затем 11

эти потрясающие новости скороговоркой, торопясь, все время оглядываясь, боясь снующих надзирательниц. Кроме того, он

австро-венгерских комиссий, которые должны были – в сотрудничестве с советскими органами власти – организовывать репатриацию подведомственных континентов. В функции этих комиссий, распределенных по разным регионам, входили вопросы размещения, питания, бытового и медицинского обслуживания, обмундирования и собственно транспортировки пленных. Комиссии состояли из командированных германских и австро-венгерских чиновников, финансировались из бюджета соответствующих стран, привлекали помощь международных гуманитарных организаций (прежде всего, структур Красного Креста). С июля по середину октября 1918 процесс репатриации проходил довольно активно (вернулось на родину более 100 тыс. германских и около 700 тыс. австро-венгерских пленных). Однако с конца октября, на фоне катастрофических военных поражений в Германии и Австро-Венгрии, начался острый политический кризис, что привело к фактическому распаду Австро-Венгерской империи и революционной смене политического режима в Германии. Эти события негативно сказались на дипломатических отношениях РСФСР с центральными державами (напр., 5/6 ноября последовал разрыв отношений с Германией), а, следовательно, и на процессе обмена пленными. Комиссии по делам военнопленных стремительно теряли легитимность, и советские власти воспользовались этим, чтобы перехватить рычаги управления массой военнопленных, которые давно рассматривались большевиками как потенциальные агенты мировой революции и, несмотря на букву Брест-Литовских соглашений, подвергались постоянному пропагандистскому воздействию. В начале ноября 1918 полномочия комиссий по делам пленных были опротестованы «демократическим путем». Было инспирировано создание германских и австро-венгерских советов «рабочих и солдатских депутатов», в основном из числа военнопленных с левыми взглядами, давно просочившихся в аппараты комиссий. Имущество комиссий было конфисковано и частично передано новообразованным советам, которые должны были в дальнейшем заниматься репатриацией под большевистским руководством (советы просуществовали до конца 1920). В некоторых регионах передача полномочий и имущества сопровождалась арестами протестующих комиссионеров, однако эти репрессивные меры были временными, и в течение двух недель штат комиссий покинул пределы республики. К сожалению, в литературе отсутствуют подробные данные об обстоятельствах создания советов военнопленных в Петрограде, однако известно, что Австро-венгерский совет рабочих и солдатских депутатов был образован в Петрограде 05.11.1918 (в 1919 переехал в Москву), а Германский революционный совет рабочих и солдатских депутатов в Москве – 10.11 (см.: Кривогуз, Полянский 1967: 475–478; Документы 1959: 564). По косвенным данным, петроградские события в сообществе немецких военнопленных предшествовали московским; это согласуется со свидетельством В. И. о том, что инцидент произошел на исходе режимного (праздничного) периода в городе, то есть скорее всего 09.11 (27.10.) – в день отречения от престола императора Вильгельма II, известие о котором и могло послужить триггером событий (см. также: Brändström 1927: 195–199; Дэвис 1982; Хейгель, Мейер 2008: 22–33; Безруков 2001: 99–110).

добавил, что баронессу К. посадили в карцер за то, что она вечером перестукивалась с тёткой. Дежурный надзиратель подслушал и вместо того, чтоб сделать замечание, ничего ей не говоря, привел комиссара, который накричал и наказал. Она провела в этом карцере всю ночь. Было темно, сыро и холодно. Она не захватила с собой спичек и не могла уяснить, в каком помещении находится, ощупью проводила рукой вокруг себя, но ничего не нащупывала, кроме мокрого, голого пола. Она не знала ни часа, ни продолжительности своего наказания, и провела все время на корточках, боясь сесть или лечь в мокроту. На следующее утро ее выпустили. За эту ночь она изменилась как после тяжелой болезни.

На пятый день нам разрешили прогулку. Все были возмущены, даже самые кроткие; обсуждался проект петиции к Ленину с требованием освобождения. Многие не согласились дать свою подпись, и кажется, он так и не осуществился.

Я чувствовала себя плохо и снова пошла к доктору, прося консультации с другим врачом, который должен был быть у в. к. Павла Ал<ександровича>. Он опять сочувственно вздыхал, качал головой, жалел, но прибавил, что вероятно существуют веские причины для моего задержания, т. к. комиссар, когда он заговорил обо мне, сказал, что меня не скоро освободят. А другой раз, когда упомянул о моем здоровье, грубо прервал его словами «и пускайдохнет». Он больше ничего говорить не может, и опять посоветовал мне написать комиссару заявление⁵³.

Писать заявления сделалось для меня нечто вроде спорта; я их писала ежедневно, по одному образцу, прося свиданья. Заявления посылала, а комиссар не являлся. Я так его никогда и не видела.

Очень становилось тоскливо. Дни делались короче, с 3-х часов уже читать нельзя было, и эти три часа до появления электричества тянулись бесконечно. Новостей, особенно сенсационных, не было. Великих князей все держали; здоровье Павла Алек<сандровича> и Дм<итрия> Конст<антиновича> значительно ухудшилось. Ник<олай> Мих<айлович> точно таял, т<ак> он худел, а глаза его

⁵³ Вычеркнута фраза: «что я и сделала без всякой надежды на успех».

блестели лихорадочным внутренним огнем, щеки делались еще багровее, он укорочал прогулку – видимо, ему было не под силу говорить о постороннем. Он и Павел Алекс<андрович> особенно болезненно переносили ожидание освобождения, которому они верили безусловно и ждали в буквальном смысле с минуты на минуту.

Немцев продержали недолго и куда-то увезли или отпустили – никто наверное не знал. Погода становилась все хуже, гулять в нечищенном дворе не было привлекательно; все больше и больше заключенных не выходили из своих полутемных камер, потеряв всякую энергию. Тоска окутывала нас всех. Монотонность и однообразие жизни ничем не нарушались. Часто, просыпаясь утром, недоумевала: новый ли начинается день или продолжение предыдущего.

Вдруг почему-то у меня явилось убеждение, что освободят в известный день. Оснований на такую уверенность не было никаких, но тем не менее она была так сильна, что я успокоилась. В предназначенный мною день, я уложила свои вещи, не постелила даже только что полученное белье, и читала, изредка поглядывая на часы. В девять с половиной часов вечера послышались не затаенные шаги в коридоре, знакомая возня с замком и лязг ключей. Дверь в камеру распахнулась и в нее вошел человек с бумажкой в руках, в сопровождении надзирательницы; проверил мое имя и фамилию, и объявил, что я свободна. «Освобождение», – повторил он, пристально глядя на меня. Взрыва радости у меня не было. Во 1-х, это извещение не являлось неожиданностью, я его ждала и именно в этот день, а во 2-х, у меня как-то чувства притупились; я, вероятно, не могла тогда воспринять ни большой радости, ни большого огорчения.

Уходя, человек сказал торопиться со сборами и быть готовой через десять минут. Я возмутилась и резко возразила, что после того, что меня держали месяц неизвестно почему, теперь не дают время улечься как следует и что торопиться не стану.

Укладывать-то почти было нечего, но я хотела разослать по камерам, что получила утром и в чем, я знала, многие так нуждаются. Я успела это сделать, хотя за мной посылали два раза.

Надзирательница суетливо лебезила, спросила мой адрес «на всякий случай». «Ведь времена могут перемениться», – добавила она наивно. «И я могу вам пригодиться», – добавила я добродушно.

Проходя по коридорам, стучала у нескольких дверей, хотела проститься со многими, но сопровождающий надзиратель не позволял останавливаться.

В канцелярии ждали меня две другие освобожденные. Нам прочли бумагу <1 слово нрзб.> в нашем освобождении и взяли с меня подписку о невыезде из Петербурга.

Я просила нам дать солдата нести наши вещи или разрешить мне по телефону вызвать кого-нибудь, чтоб прислали извозчика. Но в том и в другом было очень грубо отказано помощником комиссара. С трудом разрешили надзирателю снести наши вещи до ворот. Мы очутились втроем с нашими тюками на панели в пустынной улице в одиннадцать часов вечера. Знакомые жили поблизости, и я им предложила идти домой и прислать извозчика, который, может быть, встретится по пути; я же буду сторожить вещи у ворот. Оставшись с глазу на глаз с часовым, я завела с ним разговор. Сначала угрюмый и сдержанный, он скоро разоткровенничался, стал горько жаловаться на условия жизни, на службу, на плохое питание, распространяя на всеобщее неудовольствие служащих и караула особенно среди вновь призванных солдат. Улица была мертва, ни души, а солдат, разговорившийся, угрюмо и упрямо повторял: «Надоело служить, был на войне, и довольно, теперь больше не хочу – хочу домой».

Показался тихо бредущий извозчик. Он остановился у ворот. Его прислали за мною.

Я нагрузила вещи и поехала домой.

БИБЛИОГРАФИЯ

Алданов М. А. 1923. Убийство Урицкого (к пятилетию). – Современные записки. Кн. XVI (III). С. 350–383.

Безруков Д. А. 2001. Система управления военнопленными и использование их труда в Новгородской губернии 1914–1918 гг. Диссертация на соискание степени кандидата исторических наук. Новгород: Новгородский государственный университет им. Ярослава Мудрого.

- Беленкин Б. И. 2005. Пасынки революции: Савинков, Опперпут и др. М.: Яуза; Эксмо.
- Бенуа А. Н. 1993. Мои воспоминания: В 5-ти кн. 2-е изд., доп. (репринт 1990). М.: Наука.
- Бережков В. И. 2005. Питерские: Руководители органов госбезопасности Санкт-Петербурга. М.: Яуза; Эксмо.
- Великий князь Николай Михайлович 1992. Великий князь Николай Михайлович: Письмо из заточения / Вступительная заметка, публикация и комментарии Н. Сидорова. – Наше наследие. № 25. С. 86–87.
- Вельяминов Н. А. 1994. Воспоминания об императоре Александре III / Публикация, вступительная ст. и примечания Д. Налепиной. – Российский архив: История Отечества в свидетельствах и документах XVIII–XX вв.: Альманах. М.: Студия ТРИТЭ: Рос. Архив. [Т.] V. С. 249–313.
- Волконская С. А. кн. 1925. Горе побежденным: *Vae victis*. Воспоминания. Париж: Oreste Zeluk, Editeur.
- Документы 1959. Документы внешней политики СССР. Т. 1: 7 ноября 1917 – 31 декабря 1918. М.: Политиздат.
- Елизаров М. А. 2004. Выступление матросов в Петрограде 14 октября 1918 г. – Вопросы истории. № 6. С. 129–133.
- Кильдюшевский В. И., Петрова Н. Е. 2011. Находки захоронений жертв красного террора в Петропавловской крепости. – Красный террор в Петрограде. М.: Айрис-пресс. С. 477–502.
- Кривогуз И. М., Полянский И. С. 1967. Германские и австрийские военнопленные – интернационалисты. – Интернационалисты: Трудящиеся зарубежных стран – участники борьбы за власть Советов. М.: Наука. С. 460–488.
- Манухин И. И. 1958. Воспоминания о 1917–18 гг. – Новый Журнал. № 54. С. 97–116.
- Морев Г. А. 1994. Из истории русской литературы 1910-х годов: К биографии Леонида Каннегисера. – Минувшее: Исторический альманах. [Т.] 16. М.; СПб.: Atheneum; Феникс. С. 115–149.
- Партия левых социалистов-революционеров 2000–2017. Партия левых социалистов-революционеров: Документы и материалы. 1917–1925: В 3-х тт. М.: Российская политическая энциклопедия.
- Петерс Я. Х. 2007. Дело Локкарта: Работа тов. Петерса о деле Локкарта 1918 г. – Архив ВЧК: Сборник документов. М.: Кучково поле. С. 489–592.

- Политическая каторга и ссылка 1929. Политическая каторга и ссылка: Биографический справочник членов О-ва политкаторжан и ссыльнопоселенцев. М.: Издательство Всесоюзного общества политкаторжан и ссыльнопоселенцев.
- Ратьковский И. С. 2012. Петроградская ЧК и организация доктора В. П. Ковалевского в 1918 г. – Новейшая история России. № 1. С. 100–115.
- Ратьковский И. С. 2019. Роберт Брюс Локкарт и «Заговор трех послов». – *Russian Colonial Studies*. № 1. С. 180–210.
- Сальман М. Г. 2017. Молодой Шкловский (По архивным материалам). – *Wiener Slavistisches Jahrbuch. Neue Folge*. Bd. 5. С. 148–167.
- Тименчик Р. Д. 2016. Ангелы-люди-вещи: В ореоле стихов и друзей. М.; Иерусалим: Мосты культуры; Гешарим.
- Хильгер Г., Мейер А. 2008. Россия и Германия: Союзники или враги? / Пер. с англ. Л. А. Игоревского. М.: Центрполиграф.
- Чельцов М. П. 1995. Воспоминания «смертника» о пережитом / Предисловие В. В. Антонова. М.: Издательство имени святителя Игнатия Ставропольского.
- Черепнин Н. П. 1915. Императорское воспитательное общество благородных девиц: Исторический очерк. 1764–1914. Т. 3. СПб.: Государственная типография.
- Шенталинский В. А. 2007. Поэт-террорист. – Шенталинский В. А. Преступление без наказания: Документальные повести / Предисловие В. Леоновича. М.: Прогресс-Плеяда. С. 91–194.
- Шкловский В. Б. 2019. Собр. соч. Т. 2: Биография / Сост., вступительная ст. И. Калинина. М.: Новое литературное обозрение.
- Шнир Дж. 2022. Заговор Локкарта: Любовь, предательство, убийство и контрреволюция в России времен Ленина / Пер. с англ. Саши Мороз. СПб.: Издательство Ивана Лимбаха.
- Brändström, E. 1927. *Unter Kriegsgefangenen in Russland und Sibirien: 1914–1920*. Leipzig: Verlegt bei Koehler & Amelang.
- Davis, G. 1982. *Deutsche Kriegsgefangene im Ersten Weltkrieg in Rußland*. – *Militär-geschichtliche Mitteilungen*. Bd. 31. S. 37–49.

REFERENCES

- Aldanov, M. A. "Ubiistvo Uritskogo (k piatiletiiu)." *Sovremennye zapiski* 16, no. 3 (1923), 350–83.
- Belenkin, B. I. *Pasynki revoliutsii: Savinkov, Opperput i dr.* Moscow: Iauza; Eksmo, 2005.
- Benoï, A. N. *Moi vospominaniia*. 5 vols. 2nd rev. ed. Moscow: Nauka, 1993.
- Berezhkov, V. I. *Piterskie: Rukovoditeli organov gosbezopasnosti Sankt-Peterburga*. Moscow: Iauza; Eksmo, 2005.
- Bezrukov, D. A. *Sistema upravleniia voennoplennymi i ispol'zovanie ikh truda v Novgorodskoi gubernii 1914–1918 gg.* Unpublished PhD dissertation. Novgorod: Novgorodskii gosudarstvennyi universitet im. Iaroslava Mudrogo, 2001.
- Brändström, E. *Unter Kriegsgefangenen in Russland und Sibirien: 1914–1920*. Leipzig: Verlegt bei Koehler & Amelang, 1927.
- Chel'tsov, M. P. *Vospominaniia "smertnika" o perezhitom*. Prefaced by V. V. Antonov. Moscow: Izdatel'stvo imeni sviatitelia Ignatii Stavropol'skogo, 1995.
- Cherepnin, N. P. *Imperatorskoe vospitatel'noe obshchestvo blagorodnykh devits: Istoricheskii ocherk. 1764–1914*. Vol. 3. Saint Petersburg: Gosudarstvennaia tipografiia, 1915.
- Davis, G. "Deutsche Kriegsgefangene im Ersten Weltkrieg in Rußland." *Militär-geschichtliche Mitteilungen* 31 (1982): 37–49.
- Dokumenty vneshnei politiki SSSR*. Vol. 1, 7 noiabria 1917 – 31 dekabria 1918. Moscow: Politizdat, 1959.
- Elizarov, M. A. "Vystuplenie matrosov v Petrograde 14 oktiabria 1918 g." *Voprosy istorii* 6 (2004): 129–33.
- Hilger, G. and A. Meyer. *Rossii i Germaniia: Soiuzniki ili vragi?* Translated from the English by L. A. Igorevskii. Moscow: Tsentrpoligraf, 2008.
- Kil'diushevskii, V. I. and N. E. Petrova. "Nakhodki zakhoroneniï zhertv krasnogo terrora v Petropavlovskoi kreposti." In *Krasnyi terror v Petrograde, 477–502*. Moscow: Iris-press, 2011.
- Krivoguz I. M. and I. S. Polianskii. "Germanskie i avstriiskie voennoplennye – internatsionalisty." In *Internatsionalisty: Trudiashchiesia zarubezhnykh stran – uchastniki bor'by za vlast' Sovetov*, 460–88. Moscow: Nauka, 1967.
- Manukhin, I. I. "Vospominaniia o 1917–18 gg." *Novyi Zhurnal* 54 (1958): 97–116.
- Morev, G. A. "Iz istorii russkoi literatury 1910-kh godov: K biografii Leonida Kannegisera." In *Minuvshee: Istoricheskii al'manakh*. [Vol.] 16, 115–49. Moscow and Saint Petersburg: Atheneum; Phoenix, 1994.

- Partiia levyykh sotsialistov-revoliutsionerov: Dokumenty i materialy. 1917–1925.* 3 vols. Moscow: Rossiiskaia politicheskaia entsiklopediia, 2000–2017.
- Peters, Ia. Kh. “Delo Lockhart’a: Rabota tov. Petersa o dele Lockhart’a 1918 g.” In *Arkhiv VChK: Sbornik dokumentov*, 489–592. Moscow: Kuchkovo pole, 2007.
- Politicheskaia katorga i ssylka: Biograficheskii spravocchnik chlenov O-va politkatorzhan i ssyl’noposelentsev.* Moscow: Izdatel’stvo Vsesoiuznogo obshchestva politkatorzhan i ssyl’noposelentsev, 1929.
- Rat’kovskii, I. S. “Petrogradskaia ChK i organizatsiia doktora V. P. Kovalevskogo v 1918 g.” In *Noveishaia istoriia Rossii* 1 (2012): 100–15.
- . “Robert Bruce Lockhart i ‘Zagovor trekh poslov.’” *Russian Colonial Studies* 1 (2019): 180–210.
- Sal’mán, M. G. “Molodoi Shklovskii (Po arkhivnym materialam).” *Wiener Slavistisches Jahrbuch. Neue Folge* 5 (2017): 148–67.
- Schneer, J. *Zagovor Lockhart’a: Liubov’, predatel’stvo, ubiistvo i kontrrevoliutsiia v Rossii vremen Lenina.* Translated from the English by Sasha Moroz. Saint Petersburg: Izdatel’stvo Ivana Limbakha, 2022.
- Shentalinskii, V. A. “Poet-terrorist.” In *Prestuplenie bez nakazaniia: Dokumental’nye povesti*, by V. A. Shentalinskii. Prefaced by V. Leonovich, 91–194. Moscow: Progress-Pleiada, 2007.
- Shklovskii V. B. *Sobranie sochinenii. Vol. 2, Biografiia.* Edited and prefaced by I. Kalinin. Moscow: Novoe literaturnoe obozrenie, 2019.
- Sidorov, N. “Velikii kniaz’ Nikolai Mikhailovich: Pis’mo iz zatocheniia.” *Nashe nasledie* 25 (1992): 86–87.
- Timenchik, R. D. 2016. *Angely-liudi-veshchi: V oreole stikhov i družei.* Moscow and Jerusalem: Mosty kul’tury; Gesharim.
- Vel’iaminov, N. A. *Vospominaniia ob imperatore Aleksandre III.* Published, prefaced and annotated by D. Nalepina. In *Rossiiskii arkhiv: Istoriia Otechestva v svidetel’stvakh i dokumentakh 18–20 vv.: Al’manakh.* [Vol.] 5, 249–313. Moscow: Studiia TRITE; Rossiiskii arkhiv, 1994.
- Volkonskaia, S. A. princess. *Gore pobezhdennym: Vae victis. Vospominaniia.* Paris: Oreste Zeluk, Editeur, 1925.